



РУССКАЯ МИСТИКА

ПРОФЕССОР
БЕССМЕРТИЯ

МИСТИКА
И
МАГИЯ

Сборник

**Профессор бессмертия.
Мистические произведения
русских писателей**

«Неоглори»

Сборник

Профессор бессмертия. Мистические произведения русских писателей / Сборник — «Неоглори»,

ISBN 5-222-05845-X

В сборник включены мистические произведения русских писателей конца XIX - начала XX века – А.Н.Апухтина, М.В.Лодыженского, К.К.Случевского. Книга будет интересна широкому кругу читателей, и в особенности тем, кто интересуется вопросами религиозной мистики.

ISBN 5-222-05845-X

© Сборник
© Неоглори

Содержание

Об авторе	5
Алексей Апухтин	6
Об авторе	22
Митрофан Лодыженский	23
От автора	23
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	24
Конец ознакомительного фрагмента.	51

ПРОФЕССОР БЕССМЕРТИЯ

Мистические произведения русских писателей

Об авторе

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АПУХТИН

1840–1893

Известный русский поэт. Автор ряда популярных романсов. Из старинного дворянского рода. В детстве получил прекрасное домашнее образование. Стихи начал писать с десяти лет. Всю жизнь преклонялся перед поэзией А. С. Пушкина. В 1852 году поступил в Императорское Училище правоведения. Учился блестяще. В печати начал выступать с 1854 года, то есть с 14 лет. После окончания Училища служил сначала в Министерстве юстиции, а затем в Министерстве внутренних дел. Последние годы сильно болел.

Прозу Апухтин стал писать только в конце жизни – в начале 90-х годов XIX века. При чем он не делал никаких попыток опубликовать свои повести, хотя и «Дневник Павлика Дольского», и «Из архива графини Д.» отличаются несомненными литературными достоинствами и представляют огромный интерес и в наше время.

Повесть «Между смертью и жизнью» написана в 1892 году. Главная идея повести – «смерти нет, есть одна жизнь бесконечная», и душа человеческая, многократно возвращаясь на землю, по божественному волеизъявлению вселяется в новое, избранное самим Господом Богом, тело.

Алексей Апухтин МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ЖИЗНЬЮ

*C'est un samedi, a six
heures du matin, que je suis mort.
Emile Zola¹*

I

Был восьмой час вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу, поднес мне к губам маленькое зеркало и, обратясь к моей жене, сказал торжественно и тихо:

– Все кончено.

По этим словам я догадался, что я умер.

Собственно говоря, я умер гораздо раньше. Более тысячи часов я лежал без движения и не мог произнести ни слова, но изредка еще продолжал дышать. В продолжение всей моей болезни мне казалось, что я прикован бесчисленными цепями к какой-то глухой стене, которая меня мучила. Мало-помалу стена меня отпускала, страдания уменьшались, цепи ослабевали и распадались. В течение двух последних дней меня держала какая-то узенькая тесемка; теперь и она оборвалась, и я почувствовал такую легкость, какой никогда не испытывал в жизни.

Вокруг меня началась невообразимая суматоха. Мой большой кабинет, в который меня перенесли с начала болезни, наполнился людьми, которые все сразу зашептали, заговорили, зарыдали. Старая ключница Юдишна даже заголосила каким-то не своим голосом. Жена моя с громким воплем упала мне на грудь; она столько плакала во время моей болезни, что я удивлялся, откуда у нее еще берутся слезы. Из всех голосов выделялся старческий дребезжащий голос моего камердинера Савелия. Еще в детстве моем был он приставлен ко мне дядькой и не покидал меня всю жизнь, но теперь был уже так стар, что жил почти без занятий. Утром он подавал мне халат и туфли, а затем целый день попивал «для здоровья» березовку и ссорился с остальной прислугой. Смерть моя не столько его огорчила, сколько ожесточила, а вместе с тем придала ему небывалую важность. Я слышал, как он кому-то приказывал съездить за моим братом, кого-то упрекал и чем-то распоряжался.

Глаза были закрыты, но я все видел и слышал, что происходило вокруг меня.

Вошел мой брат – сосредоточенный и надменный, как всегда. Жена моя терпеть его не могла, однако бросилась к нему на шею, и рыдания ее удвоились.

– Полно, Зоя, перестань, ведь слезами ты не поможешь, – говорил брат бесстрастным и словно заученным тоном, – побереги себя для детей, поверь, что ему лучше там.

Он с трудом высвободился из ее объятий и усадил ее на диван.

– Надо сейчас же сделать кое-какие распоряжения... Ты мне позволишь помочь тебе, Зоя?

– Ах, Andre, ради бога, распоряжайся всем... Разве я могу о чем-нибудь думать?

Она опять заплакала, а брат уселся за письменный стол и подозвал к себе молодого расторопного буфетчика Семена.

– Это объявление ты отправишь в «Новое время», а затем пошлешь за гробовщиком; да надо спросить у него, не знает ли он хорошего псаломщика?

¹ «Я умер в субботу, в шесть часов утра». Эмиль Золя (фр.).

– Ваше сиятельство, – отвечал, нагибаясь, Семен, – за гробовщиком посылать нечего, их тут четверо с утра толкуются у подъезда. Уж мы их гнали, гнали, – не идут, да и только. Прикажете их сюда позвать?

– Нет, я выйду на лестницу.

И брат громко прочел написанное им объявление:

– «Княгиня Зоя Борисовна Трубчевская с душевным прискорбием извещает о кончине своего мужа, князя Дмитрия Александровича Трубчевского, последовавшей 20 февраля, в 8 часов вечера, после тяжелой и продолжительной болезни. Панихиды в 2 часа дня и в 9 часов вечера». Больше ничего не надо, Зоя?

– Да, конечно, ничего. Только зачем вы написали это ужасное слово: «прискорбие»? Je ne puis pas souffrir ce mot. Mettez:² с глубокой скорбью.

Брат поправил.

– Я посылаю в «Новое время». Этого довольно?

– Да, конечно, довольно. Можно еще в «Journal de S.-Pe(ters-bourg)».

– Хорошо, я напишу по-французски.

– Все равно, там переведут.

Брат вышел. Жена подошла ко мне, опустилась на кресло, стоявшее возле кровати, и долго смотрела на меня каким-то молящим, вопрошающим взглядом. В этом молчаливом взгляде я прочел гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и воплях. Она вспоминала нашу общую жизнь, в которой немало было всяких тревожений и бурь. Теперь она во всем винила себя и думала о том, как ей следовало поступать тогда. Она так задумалась, что не заметила моего брата, который вернулся с гробовщиком и уже несколько минут стоял возле нее, не желая нарушить ее раздумья. Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувств. Ее унесли в спальню.

– Будьте спокойны, ваше сиятельство, – говорил гробовщик, снимая с меня мерку так же бесцеремонно, как некогда делали это портные, – у нас все припасено: и покров, и паникадилы. Через час их можно переносить в залу. И насчет гроба не извольте сомневаться: такой будет покойный гроб, что хоть живому в него ложиться.

Кабинет опять начал наполняться. Гувернантка привела детей.

Соня бросалась на меня и рыдала совершенно как мать, но маленький Коля уперся, ни за что не хотел подойти ко мне и ревел от страха. Приплелась Настасья – любимая горничная жены, вышедшая замуж в прошлом году за буфетчика Семена и находившаяся в последнем периоде беременности. Она размашисто крестилась, все хотела стать на колени, но живот ей мешал, и она лениво всхлипывала.

– Слушай, Настя, – сказал ей тихо Семен, – не нагибайся, как бы чего не случилось. Шла бы ты лучше к себе: помолилась, и довольно.

– Да как же мне за него не молиться? – отвечала Настасья слегка нараспев и нарочно громко, чтоб все ее слышали. – Это не человек был, а ангел божий. Еще нынче перед самой смертью обо мне вспомнил и приказал, чтобы Софья Францевна неотлучно при мне находилась.

Настасья говорила правду. Произошло это так. Всю последнюю ночь жена провела у моей постели и, почти не переставая, плакала. Это меня истомило вконец. Рано утром, чтобы дать другое направление ее мыслям, а главное, чтобы попробовать, могу ли я явственно говорить, я сделал первый пришедший мне в голову вопрос: родила ли Настасья? Жена страшно обрадовалась тому, что я могу говорить, и спросила, не послать ли за знакомой акушеркой Софьей Францевной. Я отвечал: «Да, пошли». После этого я, кажется, действительно уже ничего не говорил, и Настасья наивно думала, что мои последние мысли были о ней.

² Я не выношу этого слова. Напишите. (фр.)

Ключница Юдишна перестала, наконец, голосить и начала что-то рассматривать на моем письменном столе. Савелий набросился на нее с ожесточением.

– Нет, уж вы, Прасковья Юдишна, княжеский стол оставьте, – сказал он раздраженным шепотом, – здесь вам не место.

– Да что с вами, Савелий Петрович! – прошипела обиженная Юдишна. – Я ведь не красть собираюсь.

– Что вы там собираетесь делать, про то я не знаю, но только пока печати не приложены – я к столу никого не допущу. Я недаром сорок лет князю-покойнику служил.

– Да что вы мне вашими сорока годами в глаза тычете? Я сама больше сорока лет в этом доме живу, а теперь выходит, что я и помолиться за княжескую душу не могу...

– Молиться можете, а до стола не прикасайтесь...

Люди эти, из уважения ко мне, ругались шепотом, а между тем я явственно слышал каждое их слово. Это меня страшно удивило. «Неужели я в летаргии?» – подумал я с ужасом. Года два назад я прочитал какую-то французскую повесть, в которой подробно описывались впечатления заживо погребенного человека. И я силился восстановить в памяти этот рассказ, но никак не мог вспомнить главного, то есть что именно он сделал, чтобы выйти из гроба.

В столовой начали бить стенные часы; я сосчитал одиннадцать. Васютка, девочка, жившая в доме «на побегушках», вбежала с известием, что пришел священник и что в зале все готово. Принесли большой таз с водой, меня раздели и начали тереть мокрой губкой, но я не почувствовал ее прикосновения; мне казалось, что моют чью-то чужую грудь, чьи-то чужие ноги.

«Ну, значит, это не летаргия, – соображал я, пока меня облекали в чистое белье, – но что же это такое?»

Доктор сказал: «Все кончено», обо мне плачут, сейчас меня положат в гроб и дня через два похоронят. Тело, повиновавшееся мне столько лет, теперь не мое, я несомненно умер, а между тем, я продолжаю видеть, слышать и понимать. Может быть, в мозгу жизнь продолжается дольше, но ведь мозг тоже тело. Это тело было похоже на квартиру, в которой я долго жил и с которой решил съехать. Все окна и двери открыты настежь, все вещи вывезены, все домашние вышли, и только хозяин застоялся перед выходом и бросает прощальный взгляд на ряд комнат, в которых прежде кипела жизнь и которые теперь дивят его своей пустотой.

И тут в первый раз в окружавших меня потемках блеснул какой-то маленький, слабый огонек, – не то ощущение, не то воспоминание. Мне показалось, что то, что происходит со мной теперь, что это состояние мне знакомо, что я его уже переживал когда-то, но только давно, очень давно...

II

Наступила ночь. Я лежал в большой зале на столе, обитом черным сукном. Мебель была вынесена, шторы спущены, зеркала завешаны черной тафтой. Покров из золотой парчи закрывал мои ноги, в высоких серебряных паникадилах ярко горели восковые свечи. Направо от меня, прислонясь к стене, недвижно стоял Савелий с желтыми, резко выдававшимися скулами, с голым черепом, с беззубым ртом и с пучками морщин вокруг полузакрытых глаз; он более, чем я, напоминал скелет мертвеца. Налево от меня стоял перед налоем высокий, бледный человек в длиннополом сюртуке и монотонным, грудным голосом, гулко раздававшимся в пустой зале, читал:

«Онемех и не отверзох уст моих, яко ты сотворил еси».

«Отстави от мене раны твоя, от крепости бо руки твоя аз исчезох».

Ровно два месяца тому назад в этой зале гремела музыка, кружились веселые пары, и разные люди, молодые и старые, то радостно приветствовали, то злословили друг друга. Я всегда

ненавидел балы и, сверх того, с середины ноября чувствовал себя нехорошо, а потому всеми силами протестовал против этого бала, но жена непременно хотела дать его, потому что имела основание надеяться, что нас посетят весьма высокопоставленные лица. Мы чуть не поссорились, но она настояла. Бал вышел блестящий и невыносимый для меня. В этот вечер я впервые почувствовал утомление жизнью и ясно сознал, что жить мне осталось недолго.

Вся моя жизнь была целым рядом балов, и в этом заключается трагизм моего существования. Я любил деревню, чтение, охоту, любил тихую семейную жизнь, а между тем весь свой век провел в свете, сначала в угоду своим родителям, потом в угоду жене. Я всегда думал, что человек с весьма определенными вкусами и со всеми задатками своего будущего характера. Задача его заключается именно в том, чтобы осуществить этот характер; все зло происходит оттого, что обстоятельства ставят иногда преграды для такого осуществления. И я начал припоминать все мои дурные поступки, все те поступки, которые некогда тревожили мою совесть. Оказалось, что все они произошли от несогласия моего характера с той жизнью, которую я вел.

Воспоминания мои были прерваны легким шумом справа. Савелий, который давно начал дремать, вдруг зашатался и едва не грохнулся на пол. Он перекрестился, вышел в переднюю и, принеся оттуда стул, откровенно заснул в дальнем углу залы. Псаломщик читал все ленивее и тише, потом умолк совсем и последовал примеру Савелия. Настала мертвая тишина.

Среди этой глубокой тишины вся моя жизнь развернулась предо мной как одно неизбежное целое, страшное по своей строгой логичности. Я видел уже не отрывочные факты, а одну прямую линию, которая начиналась со дня моего рождения и кончалась нынешним вечером. Дальше она идти не могла, мне это было ясно, как день. Впрочем, я уже сказал, что близость смерти я сознал два месяца тому назад.

Да и все люди сознают это непременно. Предчувствие – одно из тех таинственных мировых явлений, которые доступны человеку и которыми человек не умеет пользоваться. Великий поэт удивительно метко изобразил это явление, сказав, что «грядущие события бросают перед собой тень». Если же люди иногда жалуются, что предчувствие их обмануло, это происходит оттого, что они не умеют разобраться в своих ощущениях. Они всегда чего-нибудь сильно желают или чего-нибудь сильно боятся и принимают за предчувствие свой страх или свои надежды.

Я, конечно, не мог определить точно день и час своей смерти, но знал их приблизительно. Я всю жизнь пользовался очень хорошим здоровьем и вдруг с начала ноября без всякой причины начал недомогать. Никакой болезни еще не было, но я чувствовал, что меня «клонит к смерти», так же ясно, как чувствовал, бывало, что меня клонит ко сну. Обыкновенно с начала зимы мы с женой составляли план того, как мы будем проводить лето. На этот раз я ничего не мог придумать, картины лета не складывались; казалось, что вообще никакого лета не будет. Болезнь, между тем, не приходила: ей, как церемонной гостье, нужен был какой-нибудь предлог. И вот со всех сторон стали подкрадываться предлоги. В конце декабря я должен был ехать на медвежью охоту. Время стояло очень холодное, и жена моя, которая без всякой причины начала беспокоиться о моем здоровье (вероятно, и ее посетило предчувствие), умоляла меня не ездить. Я был страстный охотник и потому решил все-таки ехать, но почти в минуту отъезда получил депешу, что медведи ушли и что охота отменяется. На этот раз церемонная гостья не вошла в мой дом. Через неделю одна дама, за которой я слегка ухаживал, устроила пикник-monstre³ с тройками, цыганами и катаньем с гор. Простуда была неизбежна, но жена моя вдруг заболела очень серьезно и упросила меня провести вечер дома. Может быть, она даже притворилась больной, потому что на следующий день уже была в театре. Как бы то ни было, но церемонная гостья опять прошла мимо. Через два дня после этого умер мой дядя Василий Иванович. Это был старейший из князей Трубчевских; мой брат, очень гордящийся своим

³ Чудовище (фр.).

происхождением, иногда говорил о нем: «Ведь это наш граф Шамбор». Независимо от этого я очень любил дядю: не поехать на похороны было немислимо. Я шел за гробом пешком, была страшная вьюга, я продрог до костей. Церемонная гостыя не стала медлить и так обрадовалась предлогу, что ворвалась ко мне в тот же вечер. На третий день доктора нашли у меня воспаление в легких со всевозможными осложнениями и объявили, что больше двух дней я не проживу. Но до двадцатого февраля было еще далеко, а раньше я умереть не мог. И вот началась та утомительная агония, которая сбивала с толку столько ученых мужей. Я то поправлялся, то заболел с новой силой, то мучился, то переставал вовсе страдать, пока, наконец, не умер сегодня по всем правилам науки в тот самый день и час, которые мне были назначены для смерти с минуты рождения. Как добросовестный актер, я доиграл свою роль, не прибавив, не убавив ни одного слова из того, что мне было предписано автором пьесы.

Это более чем избитое сравнение жизни с ролью актера приобретало для меня глубокий смысл. Ведь если я исполнил, как добросовестный актер, свою роль, то, вероятно, я играл и другие роли, участвовал и в других пьесах. Ведь если я не умер после своей видимой смерти, то, вероятно, я никогда не умирал и жил столько же времени, сколько существует мир. То, что вчера являлось мне, как смутное ощущение, превращалось теперь в уверенность. Но какие же это были роли, какие пьесы?

Я начал искать в моей протекшей жизни какого-нибудь ключа к этой загадке. Я стал припоминать поражавшие меня в свое время сны, полные неведомых мне стран и лиц, вспоминал разные встречи, производившие на меня непонятное, почти мистическое впечатление. И вдруг я вспомнил про замок Ларош-Моден.

III

Это был один из самых интересных и загадочных эпизодов моей жизни. Несколько лет назад мы, ради здоровья жены, провели почти полгода на юге Франции. Там мы, между прочим, познакомились с очень симпатичным семейством графа Ларош-Модена, который однажды пригласил нас в свой замок.

Помню, что в тот день и жена, и я были как-то особенно веселы. Мы ехали в открытой коляске; был один из тех теплых октябрьских дней, которые особенно очаровательны в том краю. Опустелые поля, разоренные виноградники, разноцветные листья деревьев – все это под ласковыми лучами еще горячего солнца приобретало какой-то праздничный вид. Свежий, бодрящий воздух располагал невольно к веселью, и мы болтали без умолку всю дорогу. Но вот мы въехали во владения графа Модена, и веселость моя мгновенно исчезла. Мне вдруг показалось, что это место мне знакомо, даже близко, что я когда-то жил здесь... Это какое-то странное ощущение, неприятное и щемящее душу, росло с каждой минутой. Наконец, когда мы въехали в широкую авеню,⁴ которая вела к воротам замка, я сказал об этом жене.

– Какой вздор! – воскликнула жена. – Еще вчера ты говорил, что даже в детстве, когда ты с покойной матушкой жил в Париже, вы никогда сюда не заезжали.

Я не возражал, мне было не до возражений. Воображение, словно курьер, скакавший впереди, докладывало мне обо всем, что я увижу. Вот широкий двор (la cour d'honneur⁵), посыпанный красным песком; вот подъезд, увенчанный гербом графов Ларош-Моденов; вот зала в два света, вот большая гостиная, увешанная семейными портретами. Даже особенный, специфический запах этой гостиной – какой-то смешанный запах мускуса, плесени и розового дерева – поразил меня как что-то слишком знакомое.

⁴ Подъездная дорога (фр.).

⁵ Парадный двор (фр.).

Я впал в глубокую задумчивость, которая еще более усилилась, когда граф Ларош-Моден предложил мне сделать прогулку по парку. Здесь со всех сторон нахлынули на меня такие живучие, хотя и смутные воспоминания, что я едва слушал хозяина дома, который расточал весь запас своей любезности, чтобы заставить меня разговориться. Наконец, когда я на какой-то его вопрос ответил уже слишком невпопад, он посмотрел на меня сбоку с выражением удивленного сострадания.

– Не удивляйтесь моей рассеянности, граф, – сказал я, поймав этот взгляд, – я переживаю очень странное ощущение. Я, без сомнения, в первый раз в вашем замке, а между тем мне кажется, что я здесь прожил целые года.

– Тут нет ничего удивительного: все наши старые замки похожи один на другой.

– Да, но я именно жил в этом замке... Вы верите в переселение душ?

– Как вам сказать... Жена моя верит, а я не очень... А впрочем, все возможно...

– Вот вы сами говорите, что это возможно, а я каждую минуту убеждаюсь в этом более и более.

Граф ответил мне какой-то шутивно-любезной фразой, выражая сожаление, что он не жил здесь сто лет тому назад, потому что и тогда он принимал бы меня в этом замке с таким же удовольствием, с каким принимает теперь.

– Может быть, вы перестанете смеяться, – сказал я, делая невероятные усилия памяти, – если я скажу вам, что сейчас мы пойдем к широкой каштановой аллее.

– Вы совершенно правы, вот она, налево.

– А пройдя эту аллею, мы увидим озеро.

– Вы слишком любезны, называя эту массу воды (*cette pièce d'eau*⁶) озером. Мы просто увидим пруд.

– Хорошо, я сделаю вам уступку, но это будет очень большой пруд.

– В таком случае позвольте и мне быть уступчивым. Это маленькое озеро.

Я не шел, а бежал по каштановой аллее. Когда она кончилась, я увидел во всех подробностях ту картину, которая уже несколько минут рисовалась в моем воображении. Какие-то красивые цветы причудливой формы окаймляли довольно широкий пруд, у плота была привязана лодка, на противоположном берегу пруда виднелись группы старых плакучих ив... Боже мой! Да, конечно, я здесь жил когда-то, катался в такой же лодке, я сидел под теми плакучими ивами, я рвал эти красные цветы... Мы молча шли по берегу.

– Но позвольте, – сказал я, с недоумением смотря направо, – тут должен быть еще второй пруд, потом третий...

– Нет, дорогой князь, на этот раз память или воображение вам изменяют. Другого пруда нет.

– Но он был наверное. Посмотрите на эти красные цветы! Они так же окаймляют эту лужайку, как и первый пруд. Второй пруд был, и его засыпали, это очевидно.

При всем желании моем согласиться с вами, дорогой князь, я не могу этого сделать. Мне скоро пятьдесят лет, я родился в этом замке и уверяю вас, что здесь никогда не было второго пруда.

– Но, может быть, у вас живет кто-нибудь из старожилов?

– Управляющий мой, Жозеф, гораздо старше меня... мы спросим его, вернувшись домой.

В словах графа Модема, сквозь его изысканную вежливость, уже ясно проглядывало опасение, что он имеет дело с каким-то маньяком, которому не следует перечить.

Когда мы перед обедом вошли в его уборную, чтобы привести себя в порядок, я напомнил о Жозефе. Граф сейчас же велел позвать его.

⁶ Пуд (фр.).

Вошел бодрый семидесятилетний старик и на все мои расспросы отвечал положительно, что в парке никогда второго пруда не было.

– Впрочем, у меня сохраняются все старые планы, и если граф позволит их принести...

– О да, принесите их и поскорее. Надо, чтобы этот вопрос был исчерпан теперь, а то наш дорогой гость ничего не будет есть за обедом.

Жозеф принес планы, граф начал их лениво рассматривать и вдруг вскрикнул от удивления. На одном ветхом плане неизвестных годов были ясно обозначены три пруда, и даже вся часть этого парка носила название: *Ies tangs*.⁷

– *Je baisse pavilion devant le vainqueur*,⁸ – произнес граф с напускной веселостью и слегка бледнея.

Но я далеко не смотрелся победителем. Я был как-то подавлен этим открытием – словно случилось несчастье, которого я давно боялся.

Когда мы шли в столовую, граф Моден просил меня ничего не говорить по этому поводу его жене, говоря, что она женщина очень нервная и склонная к мистицизму.

К обеду съехалось много гостей, но хозяин дома и я – мы были оба так молчаливы за обедом, что получили от наших жен коллективный выговор за нелюбезность.

После этого жена часто бывала в замке Ларош-Моден, но я никогда не мог решиться туда поехать. Я очень близко сошелся с графом, он часто посещал меня, но не настаивал на своих приглашениях, потому что понимал меня хорошо.

Время понемногу изгладило впечатление, произведенное на меня этим странным эпизодом моей жизни; я даже старался не думать о нем, как о чем-то очень тяжелом. Теперь, лежа в гробу, я старался припомнить его со всеми подробностями и беспристрастно обсудить. Так как теперь я знал наверное, что жил на свете раньше, чем назывался князем Дмитрием Трубчевским, то для меня не было сомнения и в том, что я когда-нибудь был в замке Ларош-Моден. Но в качестве кого? Жил ли я там постоянно или попал туда случайно, был ли я хозяином, гостем, конюхом или крестьянином? На эти вопросы я не мог дать ответа, одно казалось мне несомненным: я был там очень несчастлив; иначе я не мог бы объяснить себе того щемящего чувства тоски, которое охватило меня при въезде в замок, которое томит меня и теперь, когда я вспоминаю о нем.

Иногда эти воспоминания делались несколько определеннее, что-то вроде общей нити начинало связывать отрывочные образы и звуки, но дружное храпение Савелия и псаломщика отвлекало меня, нить обрывалась, и мысль не могла сосредоточиться снова.

Савелий и псаломщик спали долго. Ярко горевшие в паникадилах восковые свечи уже потускнели, и первые лучи ясного морозного дня давно смотрели на меня сквозь опущенные шторы больших окон.

IV

Савелий вскочил со стула, перекрестился, протер глаза и, увидя спавшего псаломщика, разбудил его, причем не упустил случая осыпать его самыми горькими упреками. Потом он ушел, вымылся, приделся, вероятно, выпил здоровую порцию березовки и вернулся окончательно ожесточенный.

– «Кая польза в крови моей, внегда сходите ми во нетление», – начал заунывным голосом псаломщик.

Дом проснулся. В разных углах его послышалась суетливая возня. Опять гувернантка привела детей. Соня на этот раз была спокойнее, а Коле очень понравился парчовый покров, и

⁷ Пруды (фр.).

⁸ Сдаюсь на милость победителя (фр.).

он уже без всякого страха начал играть кистями. Потом пришла акушерка Софья Францевна и сделала какое-то замечание Савелию, причем выказала такие тонкие познания в погребальном деле, каких никак нельзя было ожидать от ее специальности. Пришли прощаться со мной дворовые, кучера, кухонные мужики, дворники и даже совсем незнакомые люди: какие-то неведомые старухи, швейцары и дворники соседних домов. Все они очень усердно молились; старухи горько плакали. При этом я сделал замечание, что все прощавшиеся со мной, если это люди были простые, из народа, не только целовали меня в губы, но и даже делали это с каким-то удовольствием; лица же моего круга – даже самые близкие мне люди – относились ко мне с брезгливостью, которая очень бы меня обидела, если б я мог смотреть на нее прежними земными глазами. Приплелась опять Настасья в широком голубом капоте с розовыми цветочками. Костюм этот не понравился Савелию, и он сделал ей строгое замечание.

– Да что же мне делать, Савелий Петрович? – оправдывалась Настасья, – уж я пробовала темное платье надеть, ни одно не сходится.

– Ну а не сходится, так и лежала бы у себя на кровати. Другая на твоём месте постыдилась бы и к княжескому гробу подходить с таким брюхом.

– За что же вы ее обижаете, Савелий Петрович? – вступился Семен. – Ведь она мне законная жена, тут греха никакого нет.

– Знаю я этих шлюх, законных, – проворчал Савелий и отошел в свой угол.

Настасья страшно смутилась и хотела ответить какой-нибудь уничтожающей колкостью, но не находила слов; только губы ее перекосилились от гнева, и в глазах показались слезы.

– «На аспида и василиска наступиши, – читал псаломщик, – и попереши льва и змия».

Настасья подошла совсем вплотную к Савелию и сказала ему тихо:

– Вот вы этот аспид и есть.

– Кто это аспид? Ах, ты...

Савелий не окончил фразы, потому что на лестнице раздался сильный звонок, и Васютка убежала с известием, что приехала графиня Марья Михайловна. Зала мгновенно опустела.

Марья Михайловна – тетка жены, очень важная старуха. Она медленными шагами подошла ко мне, величественно помолилась и хотела приложиться ко мне, но передумала и несколько минут трясла надо мной своей седой головой, покрытой черным убором наподобие монашеского, после чего, почтительно поддерживаемая компаньонкой, направилась в комнату жены. Через четверть часа она воротилась, ведя в свою очередь мою жену. Жена была в белом ночном капоте, волосы у нее были распущены, а веки так распухли от слез, что она едва могла открывать глаза.

– *Voyons, Zoe, mon enfant*, – уговаривала ее графиня, – *soyez ferme*.⁹ Вспомни, сколько я перенесла горя, возьми себя в руки.

– *Oui, ma tante, je serai ferme*,¹⁰ – отвечала жена и решительными шагами подошла ко мне, но, вероятно, я сильно изменился за ночь, потому что она отшатнулась, вскрикнула и упала на руки окружавших ее женщин. Ее увели.

Жена моя несомненно была очень огорчена моей смертью, но при всяком публичном выражении печали есть непременно известная доля театральности, которой редко кто может избежать. Самый искренно огорченный человек не может отогнать от себя мысль, что другие на него смотрят.

Во втором часу стали съезжаться гости. Первым вошел высокий, еще не старый генерал, с седыми закрученными усами и множеством орденов на груди. Он подошел ко мне и тоже хотел приложиться, но раздумал и долго крестился, не прикладывая пальцев ко лбу и груди, а размахивая ими по воздуху. Потом он обратился к Савелию:

⁹ Ну, ну, Зоя, дитя мое... мужайся (фр.).

¹⁰ Да, тетюшка, я буду мужественна (фр.).

- Ну что, брат Савелий, потеряли мы нашего князя?
- Да-с, ваше превосходительство, сорок лет служил князю, и мог ли я думать...
- Ничего, ничего, княгиня тебя не оставит.

И, потрепав по плечу Савелия, генерал пошел навстречу маленькому желтому сенатору, который, не подходя ко мне, прямо опустил на тот стул, на котором ночью спал Савелий. Кашель душил его.

- Ну вот, Иван Ефимович, – сказал генерал, – еще у нас одним членом стало меньше.
- Да, с Нового года это уже четвертый.
- Как четвертый? Не может быть!
- Как «не может быть»? В самый день Нового года умер Ползиков, потом Борис Антоныч, потом князь Василий Иваныч...
- Ну, князя Василия Иваныча считать нечего, он два года не ездил в клуб.
- Однако он все-таки возобновлял билет.
- Ползиков тоже был стар, но князь Дмитрий Александрыч... Помилуйте, в цвете лет и сил, человек здоровый, полный жизни...

– Что делать! «Не весте бо ни дне, ни часа...»

– Да, это все отлично! Не весте, не весте, – это так, а все-таки обидно уезжать вечером из клуба и не быть уверенным, что на другой день опять там будешь! А еще обиднее то, что никак не угадаете, где тебя эта шельма подстережет. Ведь вот князь Дмитрий Александрыч поехал на похороны Василия Иваныча и простудился на похоронах, а мы с вами тоже были и не простудились.

Сенатора опять схватил припадок кашля, после чего он обыкновенно делался еще злее.

– Да-с, удивительная судьба была у этого князя Василия Иваныча. Всю жизнь он делал всякие гадости, так ему и подобало. Но вот он умирает; казалось бы, что всем этим гадостям конец. Так вот нет же, на своих собственных похоронах сумел-таки уморить родного племянника.

– Ну, и язычок же у вас, Иван Ефимыч! Ругали бы живых, а то от вас и покойникам достается. Есть такая пословица: *de mortuis, de mortibus...*¹¹

– Вы хотите сказать: «*De mortuis aut bene, aut nihil*»?¹² Но эта пословица нелепая, я ее несколько поправлю; я говорю: *de mortuis aut bene, aut male*.¹³ Иначе ведь исчезла бы история, ни об одном историческом злодее нельзя было бы произнести справедливого приговора, потому что все они перемерли. А князь Василий был в своем роде лицо историческое, недаром у него было столько скверных историй...

– Перестаньте, перестаньте, Иван Ефимыч, будет вам на том свете за язычок ваш... По крайней мере, о нашем дорогом Дмитрие Александровиче вы не можете сказать ничего худого и должны сознаться, что это был прекрасный человек...

– К чему преувеличивать, генерал? Если мы скажем, что он был любезный и обходительный человек, этого будет совершенно достаточно. Да поверьте, что и это со стороны князя Трубчевского большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевские любезностью не отличаются. Возьмем, чтобы недалеко ходить, его брата Андрея...

– Ну, об этом я с вами спорить не буду: Андрей мне совсем не симпатичен. И чем он так важничает?

– Важничать ему решительно нечем, но не в этом дело-с. Если такой человек, как князь Андрей Александрыч, терпится в обществе, это доказывает только нашу необыкновенную

¹¹ О смерти и о мертвых (лат.).

¹² О мертвых следует говорить либо хорошо, либо ничего (лат.).

¹³ О мертвых следует говорить или хорошо, или плохо (лат.).

снисходительность. По-настоящему, такому человеку не следует и руки подавать. Вот что я узнал о нем недавно из самых достоверных источников...

В эту минуту появился мой брат, и оба собеседника бросились к нему с выражением живейшего сочувствия.

Затем робкими шагами вошел мой старый товарищ Миша Звягин. Это был очень добрый и очень заматававшийся человек. В начале октября он приехал ко мне, объяснил мне свое безвыходное положение и попросил у меня на два месяца пять тысяч, которые могли его спасти. После некоторой борьбы я написал ему чек; он предложил мне вексель, но я отвечал, что этого не нужно. Через два месяца он, конечно, уплатить не мог и начал от меня скрываться. Во время моей болезни он несколько раз присылал узнавать о здоровье, но сам не заходил ни разу. Когда он подошел к моему гробу, я прочел в его глазах самые разнообразные чувства: и сожаление, и стыд, и страх, и даже где-то там, в глубине зрачков, – маленькую радость при мысли, что у него одним кредитором стало меньше. Впрочем, поймав себя на этой мысли, он очень ее устыдился и начал усердно молиться. В его сердце происходила борьба. Ему следовало заявить сейчас же о долге, но, с другой стороны, зачем же заявлять, если он не может заплатить! Долг этот он отдаст со временем, а теперь... известно ли кому-нибудь об этом долге, записан ли он мною в какую-нибудь книжку? Нет, необходимо заявить сейчас же.

Миша Звягин с решительным видом подошел к брату и начал расспрашивать его о моей болезни. Брат отвечал неохотно и смотрел в другую сторону: моя смерть давала ему законное право быть невнимательным и надменным.

– Видите ли, князь, – начал, запинаясь, Звягин, – я был должен покойному...

Брат начал прислушиваться и вопросительно посмотрел на него.

– Я хотел сказать, что я слишком обязан покойному Дмитрию Александровичу. Наша долготелая дружба...

Брат опять отвернулся, и бедный Миша Звягин отошел на прежнее место. Его красные щеки прыгали, глаза беспокойно бегали по зале. Тут, в первый раз после смерти, я пожалел о том, что не могу говорить. Мне так хотелось сказать ему: «Да оставь себе эти пять тысяч, у детей моих и без того денег довольно».

Зала быстро наполнялась. Дамы входили большею частью попарно и становились вдоль стены. Ко мне почти никто не подходил, меня как-то стыдились. Более близкие к нам дамы спрашивали у брата, могут ли они видеть жену; брат с молчаливым поклоном указывал им на двери гостиной. Дамы в минутном раздумье останавливались в дверях, после чего, опустив головы, как-то ныряли в гостиную, словно купальщики, которые после маленького колебания решительно бросаются головой вниз в холодную воду.

К двум часам собрался весь знатный Петербург, так что, будь я тщеславен, вид залы доставил бы мне большое удовольствие. Появились даже такие лица, о приезде которых тихонько докладывали брату, и он ходил встречать на лестницу.

Я всегда с особым умилением слушал панихиду, хотя многое в ней казалось мне непонятным. Особенно всегда смущала меня «жизнь бесконечная»; выражение это на панихиде казалось мне горькой иронией. Теперь все эти слова получали для меня глубокий смысл. Я сам жил этой «бесконечной жизнью», я именно находился в том месте, «иде же несть болезни, печали и въздыхания».

Напротив того, земные, доходившие до меня, въздыхания казались мне чем-то чуждым и непонятным. Когда певчие запели о надгробном рыдании, словно в ответ им раздались сдержанные всхлипывания в разных углах залы. С женой моей сделалось дурно, ее опять увели.

Панихида кончилась. Дьякон густым басом произнес: «Во блаженном успении...», но в это время произошло нечто странное. В зале вдруг потемнело, точно сумерки сразу опустились на землю. Я перестал различать лица, а видел одни черные фигуры. Голос дьякона осла-

бел и постепенно отдалялся куда-то. Наконец он замолк совсем, свечи потухли, все для меня исчезло. Я сразу перестал видеть и слышать.

V

Я очутился в каком-то темном, непонятном для меня месте. Впрочем, я упомянул о месте только по старой привычке: никакого понятия о пространстве для меня не существовало. Времени также не было, так что я не могу определить, сколько длилось то состояние, в котором я находился. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только думал, – настойчиво, усиленно думал.

Главная загадка, мучившая меня всю жизнь, была разрешена. Смерти нет, есть одна жизнь бесконечная. Я всегда был убежден в этом и прежде, но только не мог ясно формулировать своего убеждения. Основывалось это убеждение на том, что в противном случае вся жизнь была бы вопиющей нелепостью. Человек мыслит, чувствует, сознает все окружающее, наслаждается и страдает – и он исчезает. Его тело разлагается и служит к образованию новых тел – это все могут видеть ежедневно. Но куда же девается то, что сознавало и себя, и весь окружающий мир? Если материя бессмертна, отчего сознанию суждено исчезать бесследно? Если же оно исчезает, откуда оно появляется и какая цель такого эфемерного появления? Я считал это нелепостью и потому допустить не мог.

Теперь я на собственном опыте видел, что сознание не умирает, что я никогда не переставал и, вероятно, никогда не перестану жить. Но в то же время назойливо восставали передо мной новые «проклятые вопросы». Если я никогда не умирал и всегда буду вновь воплощаться на земле, то какая цель этих последовательных существований? По какому закону они происходят и к чему, в конце концов, приведут меня? Вероятно, я бы мог уловить этот закон и понять его, если бы вспомнил все или хоть некоторые минувшие существования, но отчего же именно этого воспоминания лишен человек? За что он осужден быть вечным невеждой, что даже понятие о бессмертии является ему только в виде догадки? А если какой-нибудь неизвестный закон требует забвения и мрака, зачем в этом мраке являются странные просветы, как это случилось, например, со мной, когда я приехал в замок Ларош-Моден?

И я всей душой схватился за это воспоминание, как утопающий хватается за соломинку. Мне казалось, что если я вспомню ясно и точно свою жизнь в этом замке, это прольет свет на все остальное. Никакое внешнее впечатление меня не отвлекало, я мог беспрепятственно вспоминать и старался не думать и не размышлять. И вот с какого-то глубокого душевного дна, точно туман со дна реки, начали подниматься неясные, бледные образы. Замелькали фигуры людей, зазвучали какие-то странные, едва понятные слова, но во всяком воспоминании были пробелы, которые я не мог заполнить: лица людей были окутаны туманом, в словах не было связи, все состояло из каких-то обрывков. Вот семейное кладбище графов Ларош-Моденов. На белой мраморной плите я явственно читаю черные буквы: «*Ci-git tres haute et recommandable dame...*»¹⁴ Дальше идет имя, но я разобрать его не могу. Рядом саркофаг с мраморной урной, на котором я читаю: «*Ci-git le coeur du marquis...*»¹⁵ Вот раздается в моих ушах крикливый, нетерпеливый голос, зовущий кого-то: «*Zo... Zo...*» Я напрягаю память и к великой радости явственно слышу имя: «*Zorobabel! Zorobabel!...*» Это имя, столь мне знакомое, внезапно вызывает целый ряд картин. Я – на дворе замка, в большой толпе народа. «*A la chambre du roi!.. A la chambre du roi!..*»¹⁶ – повелительно кричит тот же резкий, нетерпеливый голос. В каждом старинном французском замке была комната короля, т. е. комната, которую занимал бы

¹⁴ Здесь покоится достойная дама... (фр.)

¹⁵ Здесь покоится сердце маркиза... (фр.)

¹⁶ В комнату короля! В комнату короля!.. (фр.)

король, если бы он когда-нибудь посетил замок. И вот я до мельчайших подробностей вижу эту комнату в замке Ларош-Моден. Потолок разрисован розовыми амурами с гирляндами в руках, стены покрыты гобеленами, изображающими охотничьи сцены. Я ясно вижу большого длиннорогого оленя, в отчаянной позе остановившегося над ручьем, и трех настигающих его охотников. В глубине комнаты – альков, увенчанный золотой короной; по синему штофному балдахину вышиты белые лилии. На противоположной стороне большой портрет короля во весь рост. Я вижу грудь в латах, вижу длинные, немного кривые ноги в лосинах и ботфортах, но лица никак разглядеть не могу. Если бы я разглядел лицо, я бы узнал, может быть, в какое время я жил в этом замке, но именно этого я не вижу, какой-то тугой, упрямый клапан в моей памяти не хочет открыться. «Zorobabel! Zorobabel!» – кричит повелительный голос. Я напрягаю все силы, и вдруг в капризной памяти открывается совсем другой клапан. Замок Ларош-Моден исчезает, и новая, неожиданная картина разворачивается передо мною.

VI

Я увидел большое русское село. Бревенчатые избы, крытые соломой, тянулись под гору по обеим сторонам широкой улицы. Был серый осенний день, а может быть, вечер. Холодный дождь падал мелкими и частыми каплями с одноцветного неба, ветер гудел и свистал по широкой улице и, поднимая солому с полуразобранных крыш, крутил ее в воздухе. Внизу маленькая речонка быстро катила свои свинцовые вздувшиеся волны. Я перешел на ту сторону реки, горбатый мост без перил задрожал под моими ногами. С моста были две дороги: налево, в гору, продолжалось село; направо, словно нагнувшись над оврагом, стояла старая деревянная церковь с зеленым куполом. Я пошел направо. За церковью виднелось несколько насыпей с почерневшими от времени крестами, между могилами качались по ветру мокрые, почти обнаженные ветви молодых берез, вся земля, словно ковром, была покрыта желто-бурыми листьями. Дальше шло черное, совсем голое поле. И несмотря на эту безотрадную картину, чем-то родным и хорошим повеяло на меня из далекой, протекшей там жизни. Но отчего же такой мрак и такое безлюдье кругом? Отчего не видно ни одного живого лица? Отчего все избы растворены настезь? В какое время жил я в этом селе? Было ли это во времена нашествий татарских или позже? Иноземный ли разорил это гнездо или свои внутренние вору выгнали жителей в леса и степи?

Я вернулся к мостику и пошел налево в гору. И там то же безлюдье, те же следы разрушения. Около обвалившегося колодца я увидел, наконец, живое существо. Это была старая, страшно исхудалая собака, вероятно, умиравшая от голода. Вся шерсть ее вылезла, спина и бока представляли почти обнаженные кости. Увидев меня, она с невероятными усилиями поднялась на ноги, но двинуться не могла и, упав в грязь, жалобно завывала.

Всеми силами души своей я старался представить себе это родное село при какой-нибудь другой обстановке. Ведь и здесь вставали румяные зори, и солнце пышно закатывалось за горой, и поле колосилось рожью, и речка замерзала, и вся гора искрилась серебром в морозные лунные ночи... Но как ни напрягал я свою память, я не мог вспомнить ничего подобного. Словно круглый год серое небо поливало несчастное село мелким дождем да ветер свободно входил в раскрытые избы и вырывался на простор через праздные, никому не нужные трубы.

Но вот среди мертвого безмолвия раздается колокольный звон. Звук колокола такой надтреснутый и жалкий, что кажется не звоном, а голосом, выходящим из какой-то наболевшей медной груди. Я иду на этот звон и вхожу в церковь. Церковь полна молящихся, простым, серым людом. Служба идет какая-то необычайная, настроение также не такое, как всегда бывает в церкви. По временам слышатся стоны в разных углах храма; слезы текут по загорелым, грубым лицам. Я пробираюсь через толпу по неровному, продавленному полу направо, где горит множество свечей перед чудотворной иконой Божией матери. Икона черная, без ризы,

только золотой венчик окаймляет голову Богоматери; глаза ее смотрят не то строго, не то с каким-то недоумевающим сожалением. Перед иконой развешано множество рук, ног и глаз из серебра и слоновой кости, – приношения больных, жаждущих исцеления. С амвона раздается старческий, неотчетливый голос священника, читающего новую для меня молитву:

«Боже милосердный, воззри на рабов твоих, здесь предстоящих, и помилуй нас».

«По беззакониям нашим караешь ты нас, но слишком тяжел для нас гнев твой».

«Господи, останови карающую руку твою и смилуйся над нами».

«Лютый враг одолевает нас, у нас нет ни вождей, ни жилищ, ни хлеба».

«За грехи наши гибнем мы, но за что должны гибнуть наши неповинные дети?»

«Мы терпеливы, мы покорны воле твоей, но все же мы люди, и терпеть нам не хватает силы».

«Бороться мы не можем, помощь не придет ниоткуда, и вот мы в последний раз пришли к тебе и молим: спаси нас».

«Господи, не доводи нас до ропота, не доводи нас до отчаяния. Ты дал нам жизнь, не отнимай ее до срока».

Но вот среди молящихся послышалось движение. Толпа расступилась, и священник быстрыми шагами подошел к чудотворной иконе. Священник был маленький, старенький, с седой всклокоченной бородкой. Старая, полинявшая риза была сшита не на его рост и волочилась по полу.

«Владычица небесная, – воскликнул он громким, взволнованным голосом. – Ты ближе к нашим людским страданиям. Ты знала, что такое мучиться и терпеть».

«Любимого и неповинного сына своего ты видела распятым на кресте. Ты видела его мучителей, издевавшихся над ним в его последний, смертный час».

«Какая скорбь может сравниться с такой скорбью?»

«Скажи же ему, сыну твоему, сыну твоему...»

Священник не мог продолжать, – голос его задрожал, и он с рыданием повалился на землю. Вслед за ним вся тысячная толпа упала на колени. Теперь стон уже не раздавался по углам церкви, он стоял сплошной массой, как стоит иногда дымный столб от ладана среди храма. Сердце мое переполнилось умилением и братским чувством общей народной скорби; я также бросился на колени и забылся.

Когда я очнулся, церковь была пуста. Все свечи в паникадилах были потушены, только маленькая лампадка горела перед темным ликом Богоматери. При тусклом освещении выражение лица ее изменилось. Сожаления в нем не было, глаза ее смотрели безучастно и строго.

Я вышел из церкви со смутной надеждой кого-нибудь увидеть, встретить... Увы! Вокруг меня то же безмолвие и та же пустота. По-прежнему одноцветно-серое небо, по-прежнему мелкий дождь добивает желто-бурые листья, и опять этот ветер, ужасный, несносный ветер, клонит до земли обнаженные ветви березок и надрывает душу своим однообразным свистом...

VII

Рамки моей памяти раздвигались все шире и шире. Предо мной проходили далекие, давно забытые и, как мне казалось, никогда не виданные страны, дикие леса, какие-то гигантские бои, в которых к людям примешивались и звери. Но это были туманные очертания, из которых еще не складывалось никакого определенного образа. Среди этих картин промелькнула девочка в голубом платье. Эта девочка была мне давно знакома; во время моего последнего существования она изредка являлась мне во сне, и я всегда считал такой сон дурным предзнаменованием. Это была девочка лет десяти, худая, бледная и некрасивая, только глаза у нее были чудесные: черные, глубокие, с серьезным, совсем не детским выражением. Иногда эти глаза выражали такое страдание и такой испуг, что, встретившись с ее взглядом, я немедленно

просыпался с биением сердца и с каплями холодного пота на лбу. После этого я бывал уже не в силах заснуть и несколько дней находился в раздраженном, нервном состоянии. Теперь я убедился в том, что девочка эта действительно существовала и что я ее знал когда-то... Но кто была она? Была ли она мне дочь, или сестра, или совсем посторонняя? И отчего в ее испуганных глазах выражалось такое нечеловеческое страдание? Какой изверг мучил этого ребенка? А может быть, я сам мучил ее когда-то, и она являлась мне во сне как наказание и упрек?

Странно, что среди моих воспоминаний не было вовсе веселых, радостных, что мои внутренние очи читали только страницы зла и горя. Конечно, бывали в моих существованиях и радостные дни, но, вероятно, их было немного, потому что они забылись и потонули в море всяких страданий. А если это так, то к чему же самая жизнь? Нельзя же предположить, что жизнь устроена для одного страдания. Есть ли у нее какая-нибудь другая, конечная цель? Вероятно, есть, но узнаю ли я ее когда-нибудь?

Ввиду этого незнания мое теперешнее положение, то есть состояние безусловной неподвижности и покоя, должно бы было мне казаться верхом блаженства. А между тем из всего этого хаоса неясных воспоминаний и отрывочных мыслей начало у меня выделяться одно странное чувство: меня потянуло опять в ту юдоль мрака и скорби, из которой я только что вышел. Я старался заглушить в себе это ощущение; но оно росло, крепло, побеждало все доводы – и наконец, перешло в страстную, неудержимую жажду жизни.

VIII

О, только бы жить! Я вовсе не прошу продолжения моего прежнего существования. Мне все равно чем родиться: князем или мужиком, богачом или нищим. Люди говорят: «Не в деньгах счастье», и, однако, считают счастьем именно те блага жизни, которые приобретаются за деньги. Между тем счастье не в этих благах, а во внутреннем довольстве человека. Где начинается и где кончается это довольство? Все сравнительно, все зависит от горизонта и от масштаба. Нищий, протягивающий руку за грошом и получающий от неизвестного благодетеля рубль, испытывает, быть может, большее удовольствие, нежели банкир, выигрывающий неожиданно двести тысяч. Я и прежде так думал, но утвердиться в этих мыслях мешали мне предрассудки, внушенные с детства и признававшиеся мной за аксиомы. Теперь эти миражи рассеялись, и я вижу все гораздо яснее. Я, например, страстно любил искусство и думал, что чувство красоты доступно только людям культурным, богатым, а без этого элемента вся жизнь казалась мне слишком скудной. Но что такое искусство? Понятия об искусстве так же условны, как и понятия о добре и зле. Каждый век, каждая страна смотрят на добро и зло различно; что считается доблестью в одной стране, то в другой признается преступлением. К вопросу об искусстве, кроме этих различий времени и места, примешивается еще бесконечное разнообразие индивидуальных вкусов. Во Франции, считающей себя самой культурной страной мира, до нынешнего столетия не понимали и не признавали Шекспира; таких примеров можно вспомнить много. И мне кажется, что нет такого бедняка, такого дикаря, в которых не вспыхивало бы подчас чувство красоты, только их художественное понимание иное. Весьма вероятно, что деревенские мужики, усевшиеся в теплый весенний вечер на траве вокруг доморощенного балалаечника или гитариста, наслаждаются не менее профессоров консерватории, слушающих в душевной зале фуги Баха.

О, только бы жить! Только бы видеть человеческие лица, слышать звуки человеческого голоса, войти опять в общение с людьми... со всякими людьми: хорошими и дурными! Да и есть ли на свете безусловно дурные люди? И если вспомнить те ужасные условия бессилия и неведения, среди которых осужден жить и вращаться человек, то скорей можно удивляться тому, что есть на свете безусловно хорошие люди. Человек не знает ничего из того, что ему больше всего нужно знать. Он не знает, зачем он родился, для чего живет, почему умирает.

Он забывает все свои прежние существования и не может даже догадываться о будущих. Он не понимает цели всех этих последовательных существований и совершает непонятный для него обряд жизни среди мрака и разнородных страданий. А как ему хочется вырваться из этого мрака, как он силится понять, как хлопочет устроить и улучшить свой быт, как напрягает он свой бедный, ограниченный разум! И все его усилия пропадают даром, все изобретения – часто гениальные – не разрешают ни одного из волнующих его вопросов. Во всех своих стремлениях он встречает предел, дальше которого идти не может. Он, например, знает, что, кроме земли, существуют другие миры, другие планеты; с помощью математических выкладок он знает, как эти планеты движутся, когда они приближаются к земле и когда от нее удаляются; но что происходит на этих планетах и есть ли там подобные ему существа, – об этом он может догадываться, но наверное не узнает никогда. А он все-таки надеется и ищет. В Америке, на одной из самых высоких гор, собираются зажечь электрический костер, чтобы подать сигнал обитателям Марса. Разве не трогателен этот костер по своей детской наивности?

О, я хочу вернуться к этим несчастным, жалким, терпеливым и дорогим существам! Я хочу жить общей с ними жизнью, хочу опять вмешаться в их мелкие интересы и дразни, которым они придают такое важное значение. Многих из них я буду любить, с другими бороться, третьих ненавидеть – но я хочу этой любви, этой ненависти, этой борьбы!

О, только бы жить! Я хочу видеть, как солнце опускается за горой и синее небо покрывается яркими звездами, как на зеркальной поверхности моря появляются белые барашки и целые скалы волн разбиваются друг о друга под голос неожиданной бури. Я хочу броситься в челноке навстречу этой буре, хочу скакать на бешеной тройке по снежной степи, хочу идти с кинжалами на разъяренного медведя, хочу испытать все тревоги и все мелочи жизни. Я хочу видеть, как молния разрезает небо и как зеленый жук переползает с одной ветки на другую. Я хочу обонять запах скошенного сена и запах дегтя, хочу слышать пение соловья в кустах сирени и кваканье лягушек у пруда, звон колокола в деревенской церкви и стук дрожек по мостовой, хочу слышать торжественные аккорды героической симфонии и лихие звуки хоровой цыганской песни.

О, только бы жить! Только бы иметь возможность дохнуть земным воздухом и произнести человеческое слово, только бы крикнуть, крикнуть!..

IX

И вдруг я вскрикнул, всей грудью, изо всей силы вскрикнул. Безумная радость охватила меня при этом крике, но звук моего голоса поразил меня. Это не был мой обыкновенный голос, это был какой-то слабый, тщедушный крик. Я раскрыл глаза; яркий свет морозного ясного утра едва не ослепил меня. Я находился в комнате Настасьи. Софья Францевна держала меня на руках. Настасья лежала на кровати, вся красная, обложенная подушками, и тяжело дышала.

– Слушай, Васютка, – раздался голос Софьи Францевны, – проберись как-нибудь в залу и вызови Семена на минутку.

– Да как же я туда проберусь, тетенька? – отвечала Васютка. – Сейчас князя выносить будут, гостей собралось там видимо-невидимо.

– Ну, как-нибудь проберись, на минутку всего вызови, ведь все-таки отец.

Васютка исчезла и через минуту воротилась с Семеном. Он был в черном фраке, обшитом плерезами, и держал в руке какое-то огромное полотенце.

– Ну, что? – спросил он, вбегая.

– Все благополучно, поздравляю, – произнесла торжественно Софья Францевна.

– Ну, слава тебе, господи, – сказал Семен и, даже не посмотрев на меня, побежал обратно.

– Мальчик или девочка? – спросил он уже из коридора.

– Мальчик, мальчик!

– Ну, слава тебе, господи, – повторил Семен и скрылся.

В это время Юдишна оканчивала свой туалет перед комодом, на котором стояло старое кривое зеркало в медной оправе. Повязав голову черным шерстяным платком, чтобы идти на вынос, она обратила негодующий взгляд на Настасью.

– Нашла тоже время – нечего сказать. Князя выносят, а она в это время рожать вздумала. О, чтоб тебя!..

Юдишна с ожесточением плюнула и, набожно крестясь, поплыла по коридору. Настасья ничего ей не ответила, только улыбнулась ей вслед какой-то блаженной улыбкой.

А меня выкупали в корыте, спеленали и уложили в люльку. Я немедленно заснул, как странник, уставший после долгого утомительного пути, и во время этого глубокого сна забыл все, что происходило со мной до этой минуты.

Через несколько часов я проснулся существом беспомощным, бессмысленным и хилым, обреченным на непрерывное страдание.

Я вступал в новую жизнь...

Об авторе

МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОДЫЖЕНСКИЙ

1852–1917

Философ, публицист, драматург, прозаик. Из старинного дворянского рода. Занимал высокие административные посты (губернатор, вице-губернатор в Туле, Витебске, Могилеве и других городах). Тончайший исследователь мистических устремлений христианской души, которому вместе с тем присуща динамичная, рационалистическая система мышления. Оказал глубокое влияние на мировоззрение Л. Н. Толстого.

Главный труд М. В. Лодыженского – «Мистическая трилогия» (в трех частях, Спб., 1914–1915) – философское исследование путей человеческих как к Богу, так и к Сатане.

В 1917 г. была опубликована повесть Лодыженского «Невидимые волны». В ней автор показывает путь от неверия и сатанизма к Богу. В повести мы встречаемся как и с реальными историческими персонажами, так и с вымышленными героями – колдун Батогин, странник Никитка.

В основу повествования легли семейные рассказы Суиковых, родственников Лодыженского.

Митрофан Лодыженский НЕВИДИМЫЕ ВОЛНЫ

От автора

Когда-то, во времена нашей юности, нам приходилось слышать не раз интересные рассказы одного почтенного старика-помещика, проведшего свою молодую жизнь довольно бурно, – человека, который в глубокой старости умер в монастыре, куда поступил в 1875 году под именем отца Вассиана. Содержание этих рассказов относилось к первой половине прошлого столетия. Оно заключало в себе богатый мистический материал.

В наше время многие интересуются вопросами из области таинственных явлений. Мы решили сообщенные нам эпизоды из жизни знакомого лица реставрировать в беллетристической форме и ввести их в предлагаемую ниже повесть.

Таким образом, в повести многие из приведенных мистических сцен не вымышлены, а действительно пережиты отцом Вассианом.

М. Л.

Петроград

1-е ноября 1916 г.

*Эта книга
посвящается сестре моей
Варваре Васильевне Сомовой*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Время нашей повести – тридцатые и сороковые годы прошлого столетия. Время это – эпоха расцвета крепостного права, на почве которого разгуливались человеческие страсти.

В те времена в одной из наших центральных губерний прославили себя бурной жизнью и яркими авантюрами двое господ из дворян-помещиков – отец и сын Сухоруковы.

Люди предприимчивые и страстные, жаждущие острых ощущений, любители рисковать – господа Сухоруковы творили в те времена невероятные даже для той эпохи дела. Нехорошая слава была у этих помещиков. В особенности дурно говорили о Сухорукове-отце. Плохая репутация отца ложилась и на сына. Широкая жизнь Сухоруковых требовала больших средств, и отец Сухоруков умел находить эти средства, изыскивая их всякими путями; изобретательность его не знала границ. Он создал, например, из своих крепостных людей целую организацию для спаивания окружного населения безакцизным вином – организацию, дававшую его винокурению большие доходы. Он вырубил у казны с помощью тех же крепостных людей и подкупа лесных надсмотрщиков корабельную рощу; отбил у одного монастыря находящиеся по соседству богатые рыбные ловли и дело об этих ловлях выиграл в тогдашней «Палате гражданского суда» и прочее и прочее. Местные власти по отношению к нему были бессильны. Умение Сухорукова дать взятку, его великая дерзость, наконец, само право крепостничества делали его неуязвимым. К тому же Сухоруковы обладали способностью привязывать к себе своих рабов. Из числа их они выбирали тех, на кого можно положиться. Все сходило с рук этим самоуправцам.

У старика Сухорукова были связи в Петербурге, оставшиеся после смерти жены. Он пользовался ими в крайних случаях, чтобы гасить те дела, которые грозили разгореться, несмотря ни на какие местные воздействия и хлопоты. Был еще у него в Петербурге брат-сенатор, но от него помощь для замазывания сухоруковских деяний была плохая. Этот сенатор, старый холостяк, человек сухой и надменный, относился к своему провинциальному брату с презрением, осуждая его жизнь. У него с братом были старые счеты. Они в молодости рассорились из-за дележа наследства после отца.

Жили помещики Сухоруковы широко. Это было разливанное море для приезжих гостей. В Отрадном, резиденции Сухоруковых, был большой барский дом, была великолепная охота, был конский завод и другие барские затеи.

Ко времени нашего повествования старик Сухоруков, которого звали Алексеем Петровичем, несмотря на свои 60 лет, был еще крепкий здоровьем человек. Он казался далеким от усталости жизнью. Он умел, по-своему, не скучать и разнообразить свои впечатления. Для его развлечения в Отрадном прикармливались приживальщики и шуты. В своих эротических забавах он обставлял себя всякими удобствами. Он не любил, как он говорил, «кислых историй» и развращал прекрасную половину человеческого рода ядом легкого эпикурейства, развращал своей веселой чувственностью. В женщинах он чуждался, как он говорил, «глубоких натур». Он уже осекся раз в жизни на такой натуре. Такой была когда-то его жена, которая давно уже умерла. За всю свою жизнь он, кажется, только одну ее и боялся. И надо правду сказать, что это была выдающаяся женщина по своей воле и уму. Кроме того, обладала она красотой и талантами и была очень религиозна. Иконостас отраднинского храма был расписан ее личными трудами; иконостас этот и по сей час цел. В его живописи чувствуется старинная манера письма. Это были копии с икон знаменитого Боровиковского.

Молодой Сухоруков потерял свою мать, когда ему было 11 лет. О ней у него осталось воспоминание, как о существе исключительно обаятельном. Мать умела привязать к себе своего ребенка. Она сама начала его учить, была ему воспитательницей. У ребенка были хорошие задатки; он был добр и отзывчив, несмотря на своеволие и страстность.

Приведем один случай из детства молодого Сухорукова, ярко его рисующий.

Васенька Сухоруков был большой любитель птиц и в особенности соловьев, которых имелось много в отряднинском парке. Когда Сухорукову было десять лет, один из дворовых людей рассказал ему, как можно поймать соловья. Васенька, выслушав этот рассказ, немедленно в уме своем решил, во что бы то ни стало, сам поймать птичку и посадить ее в клетку, которую он нашел на чердаке отряднинского дома. Мальчик он был бойкий; матери его, Ольге Александровне Сухоруковой, усмотреть за ним было нелегко. В начале весны под окном комнаты Сухоруковой в кустах завелся звонкий соловей. Ольге Александровне очень понравилось по вечерам слушать его пение. Но ее удовольствие длилось недолго. В один такой вечер соловей исчез, и песни его прекратились: его поймал Васенька. Тогда Ольга Александровна подняла тревогу: не поймал ли соловья кто-либо из дворовых или из детей-подростков с целью продать его в городе, так как соловей был очень хорош. Чтобы спасти соловья, Ольга Александровна приказала собрать к себе дворовых детей и подростков и пригрозила наказать их всех, если они не найдут соловья. При этом случайно присутствовал Васенька. И вот, не желая, чтобы кто-нибудь из детей за него пострадал, он улучил удобную минуту, побежал на чердак, где висела клетка, и выпустил соловья, рассчитывая, что соловей опять запоет под окном его матери. И действительно, в этот же вечер соловей опять защелкал и засвистал. Васенька был счастлив, что спас дворовых детей от грозившего им горя. Во всем этом он потом сознался.

Ранняя потеря матери отразилась на будущем мальчика. По смерти жены старик Сухоруков поручил дело воспитания Васеньки французу-гувернеру. Этот гувернер, по тому времени весьма образованный человек, наряду со своей образованностью был существом совершенно безнравственным. Его влияние на питомца, конечно, не могло быть полезным, но он все-таки исполнил свою задачу. В полтора года он подготовил мальчика для поступления в Москве в знаменитый университетский пансион, этот аристократический рассадник образования в России.

Юноша Сухоруков пробыл в университетском пансионе пять лет, но университетского курса не прошел. Ему очень хотелось скорее пожить на свободе, поступить в военные, надеть блестящую форму офицера, сделаться независимым человеком. И он добился согласия отца на поступление его, восемнадцатилетнего юноши, в один из гусарских полков, где его скоро произвели в офицеры. Прослужил Сухоруков на военной службе около восьми лет и вышел в отставку, вызванный отцом в деревню, чтобы разделить с ним его житье-бытье.

С приездом Васеньки к отцу жизнь последнего пошла более весело и оживленно. Молодой Сухоруков оказался приятнейшим компаньоном. Он так же, как отец, не чуждался греховной жизни, имел любовные приключения. Однажды даже на смену крепостной любовницы (ими он обзавелся сейчас же по приезде в деревню) привез из Москвы знаменитую в то время цыганку Стешу, которая влюбилась в черноглазого красавца-барина за его чудный голос и, что удивительно, имела терпение прогостить в Отрядном целых два месяца. Ведь никто, даже из настоящих цыган, не умел так хорошо играть на гитаре и ладно вторить, как «мил сердешен друг Васенька».

Мы застаем Сухоруковых в Отрядном – в имении, созданном трудами многих поколений, в самый разгар их широкой жизни. Все, казалось, у них тогда ладилось, все шло весело и беззаботно. Только немногие знали, что над этой их широкой жизнью стали собираться темные тучи, что у Сухоруковых уже не хватает денег на безграничные барские аппетиты, несмотря на ухищрения добыть их всеми способами.

Наконец, в самое последнее время – к началу нашего рассказа, стало выясняться, что Сухоруковскому состоянию грозит даже гибель, что уже пропущено несколько сроков платежа по залогу имения в Опекунском Совете, этом благодетельном финансовом учреждении для тогдашних помещиков. А с Опекунским Советом в то время шутки были плохие, в особенности когда все законные льготы были исчерпаны. Тут уж никакой протекцией, никакими взятками от блюстителей казны отделаться было нельзя; накопилась же к платежу сумма весьма значительная.

И вот, чтобы спасти положение, старику Сухорукову сделалось необходимо раздобыть десять тысяч рублей ассигнациями; причем надежд на частные займы никаких уже не было. Все, что в округе можно было занять, было занято. Все источники были исчерпаны.

II

Молодой Сухоруков был богато одарен, начиная со своей внешности. В то время, когда застаёт его наше повествование, ему было двадцать семь лет. Это был человек полный сил, роста выше среднего, с тонкими чертами лица, с черными волосами синеватого отлива, с блестящими глазами и матовым цветом кожи. Был у него один недостаток – чувственные губы, но они маскировались густыми усами. Был он строен и породист, руки и ноги имел маленькие, как у женщины. В нем не было ничего вульгарного. Натура его была чисто художественная. Он обладал богатым воображением, был хорошим рассказчиком и мог нравиться, если этого хотел.

Наряду с этим это был человек вспыльчивый, страстный и смелый, любивший сильные ощущения. Офицером он участвовал в дуэлях; они, к счастью, оканчивались благополучно. В отрядных лесах он ходил один на один на медведя с большим риском. Сухоруков любил разгул, смеялся над добродетелью и попами. В его мирозерцании укладывались странные противоречия. На Сухорукова влиял его отец, Алексей Петрович, большой, как тогда говорили, вольтерьянец, и Василий Алексеевич был атеист; он отвергал Бога, но верил в привороты, верил в «особую силу».

Вера эта к нему пришла при совершенно особых обстоятельствах.

Его любовница из крепостных, жизнерадостная Машура, умевшая веселить сердце своего барина, красивая и беззаботная, вся насыщенная ядом чувственности, стала вдруг худеть и меняться в лице. Она занемогла «порчею». Ей по ночам снилось, что к ней ходит пугать ее и мучить страшный человек, лицо которого она не могла разглядеть. Оно было затянуто чем-то черным; видны были только глаза этого ночного посетителя, горевшие, как уголья; они жгли ее и пугали.

От этого кошмара она ночью стонала и просыпалась с криком. Сны стали повторяться почти каждую ночь. Машуре становилось невмоготу. Пришло дело к тому, что Машура начала просить Василия Алексеевича отпустить ее на побывку в один скит к живущим там «божьем людям». До Машуры доходили заманчивые известия об этой сектантской обители, находящейся в глухих чернолуцких лесах, верстах в двухстах от Отрадного. Там поселилась крестная мать Машуры, Таиса, которая настойчиво звала к себе крестную дочь погостить. Вот в этот скит и начала Машура проситься у своего барина. «Надо покаяться, – говорила она. – Надо замолить грех свой, а то я совсем пропаду... Вам же от того хуже будет, барин мой милый... Ведь другой такой, как я, ты не найдешь. Сам жалеть будешь».

Сухорукову не хотелось с ней расставаться, «Отойдет... Пустяки! – утешал он Машуру. – Мы и без скитов тебя вылечим. Позову Никитку, он тебя и отчитает».

– Не хочу я, барин, вашего Никитку, – говорила Машура. – Отпусти ты меня, ради Христа...

Сухоруков упирался, обещал подумать.

Никитка, о котором шла речь, был странник, навещавший нередко Отрадное, ибо получал там за свои любопытные разговоры и причитания мзду от господ. Он странствовал и жил, выражаясь старинным языком наших летописей, «посреди градов и сел в образе отшельника, волосат и в монашеской свитце и был бос». Однако, несмотря на это, местное духовенство его не любило, говоря про него, что он это творит «не для Господа, и не в Господе, а тщеславия ради да прославиться в народе, яко святой».

Никитка не был еще стар; было ему немного более сорока лет. Он был худ телом; глаза черные, бегающие; бородка маленькая, а волосы на голове густые и всклокоченные. Ходил он и зиму, и лето без шапки; носил толстую, как говорили тогда, «пасконную» рубаху, подпоясанную веревкой. Волосатая грудь его была обнажена, и был он очень грязен. Зимой он одевался в старую монашескую свиту, которой покрывался на ночь, когда ложился спать.

Характера он был неровного. То бранился, как разнузданный мужик, то пел псалмы и возводил очи к небесам. О себе он был высокого мнения. «Бога видел, Бога самого видел, – говорил он про себя, – Христа за ручку держал, ножки у него целовал».

Водки Никитка не пил, но любил полакомиться вкусной пищей. Любил также бабьи хоро- воды, и было иной раз удивительно для местных жителей видеть его в бабьем кругу приплясывающим под их песни. Деньги, что он получал от дателей, раздавал кому вздумается, но предпочитал дарить бабам, которые были покрасивее. Плотскому греху он не предавался. «Чист, чист, – говорил, – красоты мне надо ангельской; улыбнись, милая, а тело твое для меня – что псина».

Впрочем, про него говорили, что у него был какой-то физический недостаток.

Этот Никитка пользовался в округе авторитетом как бы святого человека. Шла молва, что он творит чудеса, излечивает от болезней, указывает, куда делась украденная вещь. Благодаря его таинственным сведениям господам Сухоруковым однажды удалось разыскать уведенного у них рысистого коня, оказавшегося за сто верст в соседней губернии. Многие из мужиков побаивались Никитку, побаивались его черного глаза.

Несмотря на протесты Машуры, не желавшей Никитки, Сухоруков решил все-таки воспользоваться его помощью, так как вычитал в одном французском журнале об опытах знаменитого француза Месмера, излечивавшего особенным образом своих больных. «Наш домо- рощенный Никитка стоит этого француза, – думалось ему. – В нем что-то есть... недаром про него народ болтает, об его заговорах и исцелениях... И лошадь мы тогда преудивительно нашли».

По приказанию Василия Алексеевича Никитку разыскали и представили пред барином.

Обласкав Никитку, Сухоруков повел его в свой кабинет. Ему хотелось поговорить с ним без посторонних – дело было секретное.

Войдя в комнату вместе с барином, который уселся в вольтеровском кресле, Никитка прежде всего отыскал глазами образ, висевший в переднем углу, стал пред образом в торжественной позе, несколько раз перекрестился широким взмахом правой руки и поклонился иконе «истовым» поклоном, стукнув лбом об пол. Операцию эту Никитка проделал три раза.

«Мир вам и мы к вам, – забормотал он скороговоркой, – всех чертей тебе, коли нужно, разгоню... Эка табачище-то у тебя какой крепкий», – сказал он, глядя на Сухорукова, который успел раскурить трубку. «Ну и навешано у тебя тут! – продолжал Никитка, оглядывая стены и указывая на висящее оружие, – эка струмента-то!..» Сухоруков с благосклонной улыбкой смотрел на странного гостя.

– А ты прикажи мне угощение дать, – заговорил опять Никитка. – Севрюжки желаю... Монашеской рыбки... Я тебе акафист прочитаю коротенький, о древе требла– женном расскажу. Это очень полезно. Об чувствах человеческих... И насчет баб указание тебе дам, – сказал Никитка многозначительно и уперся своими черненькими глазками в барина.

– Вот насчет бабы-то мне и нужно с тобой поговорить, – отвечал Сухоруков.

– Ослабла твоя-то? – нащупывал Никитка.
– Не ослабла, а заболела... И болезнь особенная; говорит, что ее злые люди испортили с зависти... По ночам кричит, мечется. Сны ей дурные снятся... Хочет в монастырь бежать...
– Жалко?
– Привык я к ней, – сказал Сухоруков. – Впрочем, что там об этом... Вот кабы ее нам вылечить, – переменял он разговор. – Можешь?..
– Нужно повидать, миленький.
– Повидать-то, повидать... это хорошо, да боится она тебя... А надо бы вас вместе свести. Коли ты берешься ее вылечить и вылечишь – ничего не пожалею.
Никитка задумался. Прошло несколько секунд молчания.
– Ишь ты! боится... – заговорил Никитка. – С чего это ей? Знаю я ее, твою Машуру, видал в хороводах... Ядреная. Ты вот что, миленький, – объявил он наконец, – ты ночью меня к ней приведи, когда она спать будет... Тут я ее и отчитаю...
Сухоруков изъявил согласие. Порешили ехать завтра в полночь на лесной хутор за десять верст, где жила Машура полной хозяйкой со своей матерью Евфросиньей.
Перед этой поездкой Сухоруков надумал вызвать к себе Евфросинью, предупредить ее о своем посещении и строго наказать, чтобы Машура никоим образом об этом не знала; никак ее ночью не будить, даже собак увести со двора подальше, а то они, пожалуй, разлаются, когда приедут ночные гости, и потревожат Машуру своим лаем.

III

Была уже полночь, когда молодой Сухоруков на длинных беговых дрожках, сам правя лошадью, подъезжал к хутору Машуры. Дорога, по которой он ехал, шла извилинами через большой отграднинский лес. Сзади Сухорукова на дрожках примостился странник Никитка. Хотя Сухоруков хорошо знал любимую дорогу, но он все-таки в эту ночь пробирался тихо, легким шагом, ибо в лесу было темно. Наконец, после часа такого путешествия мелькнул за деревьями огонек. Это Евфросинья стояла на крыльце с фонарем. Она поджидала барина, прислушиваясь и всматриваясь в темноту.

Еще несколько минут, и дрожки с седоками вынырнули из ночной темноты в полосу света от фонаря. Гости подкатили к крыльцу. За дрожками показалась фигура верхового, который сейчас же спешил и принял господскую лошадь. Все это делалось в полном молчании. Сухоруков и Никитка взошли на крыльцо.

– Спит? – спросил Сухоруков.

– Заснула, кормилец, – заговорила Евфросинья с низкими поклонами. – Только все-таки тревожна очень. Сейчас кричала... На постели вся разметалась... Зазорно ее, – добавила Евфросинья шепотом, – такую-то старцу показывать...

– Ничего, ничего... Он у нас свой, – сказал Сухоруков.

– Пожалуй, отец, не обессудь, – обратилась Евфросинья к Никитке, провозжая приехавших в чистую светелку, предназначенную для гостей.

– Веди, веди... Не робей Никитки... Никитка слова заговорные знает... Никитка праведен есть, – забормотал странник.

Евфросинья ввела гостей в светелку. Было в ней чисто и уютно. На столе, покрытом белой скатертью, горели две свечи в старинных бронзовых подсвечниках. Стены были бревенчатые, гладко обструганные. Пахло сосновой смолой. На окнах висели чистенькие кисейные занавески; по стенам стояли простенькие стульца. Стоял тут еще старый комод с медными украшениями да стеклянный шкафчик с блестящей в нем вычурной фарфоровой посудой.

Тихо и осторожно отворила Евфросинья дверь из светелки в опочивальню. Она была слабо освещена. В углу комнаты горела лампада перед иконой в серебряной ризе. На цыпочках, крадучись, вошли в спальню Сухоруков и Никитка.

Там, в глубине, на широкой кровати, лежала Машура, освещенная мерцающим светом лампы. Одеядо упало на пол. Она лежала ничем не покрытая. Густая черная коса ее разметалась по подушке, оттеняя белизну лица. Дыхание было тревожное; она тихо стонала.

– Ох, хороша! – прошептал Никитка. – Надо непременно вылечить.

Сухоруков молчал и ждал, что будет дальше. Никитка подошел ближе к кровати.

– Молю Богу моему, – заговорил он негромко, – да снизойдет здесь благодать... Бог сделает то, что Никитка хочет...

Машура застонала еще сильнее. Сдавленный крик хотел вырваться из ее груди.

Тогда Никитка распротер над Машурой свою правую руку. Точно он хотел через пальцы этой руки перелить свою волю в Машуру. Он тихо продолжал что-то шептать.

Так прошло несколько секунд.

Вдруг Никитка решительно и смело положил широкую темную ладонь на грудь Машуры. Машура открыла глаза. Лицо ее покрылось ужасом.

– Спи, милая, – твердо сказал Никитка. Он не отрывал от нее своей руки и своих глаз. – Спи, приказываю тебе, – повелительно продолжал странник.

Машура закрыла глаза. Лицо начинало принимать спокойное выражение; стонов не было.

– Ну вот, и уснула, и стала тиха, – сказал Никитка Сухорукову, отнимая свою руку от больной и отступая от кровати. – Вот и благодать подействовала, и не стонет... И сама, гляди, как ангел, лежит, вся белая, только крыльев у нее нетути...

Сухоруков был поражен мощью Никитки. Он начинал в него верить.

– А эна что?! Смотри, видишь! – прервал вдруг молчание Никитка, указывая на изразцовую печь, расположенную в другом углу комнаты, освещаемую вспыхивающей лампадой, – видишь, он лезет... Видишь, – сказал вдруг, обернувшись резко к кровати Никитка, – перепрыгнул прямо к ней... На шею сел... Ах, ты, поганец! Сгинь, сгинь, – приказывал Никитка. – Ага, наша берет! – радостно забормотал странник, – сваливается... И видишь, видишь? – метнул Никитка глазами к печке, – упрыгнул... В пол уходит, а хвост у него длинный-предлинный, – говорил странник, указывая на щель в полу. – И хвост ушел... Неважный совсем черт... Бойся моей силы, – успокоенно объявил Никитка, – бывают много хуже...

Сухорукова охватило неприятное чувство. Мерцающая лампада давала странные очертания некоторым предметам комнаты.

– Пойдем, – сказал он Никитке, – ведь заснула?

– Нет, миленький, надо кончить. Надо молитву сотворить.

Никитка стал в молитвенную позу; он начал свои торжественные поклоны перед иконой, размахивая правой рукой, творя крестное знамение и бормоча молитву. Длилось это несколько минут. Наконец он опять подошел к спящей и положил на нее руку.

– Спи, милая, до самого солнышка спи, – властно приказывал он. – Спи, пока пастухи не заиграют... И от сегодняшнего дня завсегда спать тебе тихо и без снов, слышишь?... Это приказываю тебе я, Никита-чудотворец, – сказал он торжественно.

В комнате было тихо. Машура спала, дыша ровно и спокойно. Странник снял с нее свою руку.

– Ну вот, дело и сделано, – обратился Никитка к барину. – Сего злого беса я благодатью живущего во мне духа изгнал. Отныне она будет спать хорошо.

И действительно, после этого их посещения хутора порча с Машуры была снята. Машура вылечилась от страшных своих снов; она опять сделалась забавной барской любовницей.

Никитка сделал свое дело. Сухоруков после описанной нами ночи уверовал в заговоры и особую силу. Этот скептик, не веривший в Бога, уверовал в чудеса Никитки.

IV

Мы уже упоминали выше, что к началу нашего рассказа сухоруковскому состоянию грозила гибель, что для спасения Отрадного явилась необходимость раздобыть, во что бы то ни стало, десять тысяч рублей ассигнациями, что у старика Сухорукова надежд на частные займы не было, что все источники законные и незаконные были исчерпаны.

В эту критическую пору, когда надо было спасать положение, у Алексея Петровича Сухорукова сложилось отчаянное решение раздобыть эти деньги способом крайне рискованным.

Верстах в сорока от Отрадного проживала в своей усадьбе старуха-помещица по фамилии Незванова. Эта была одинокая женщина, достаточно обеспеченная, но большая оригиналка по образу жизни. Жила она скупой, вроде гоголевского Плюшкина, но иногда позволяла себе необычайные траты. То вдруг вздумает полюбоившихся ей девок из своей деревни или из ближайшего большого села награждать приданым перед замужеством, то начнет выкупать от рекрутчины крестьян, попадавших в солдаты из числа женатых. Порывы к такой благотворительности у нее проявлялись не часто и как-то стихийно. На нее это находило полосами. Мужики Незванову любили. «Наша Незваныха разгулялась», – говорили они про нее в этих случаях. Была эта помещица очень благочестива.

В округе шла молва, что у Незвановой имеются немалые денежки, что у старухи накопилась порядочная сумма, которую она бережет в своих сундуках. В те времена ни банков, ни сберегательных касс не было. Денежным людям приходилось прятать сбережения дома, скрывая по возможности свои средства.

У Сухорукова-отца зародилась дерзкая мысль относительно этой старухи, мысль совсем даже невероятная для его положения большого барина, каким он себя прославил в губернии. У него зародилась мысль отобрать деньги у помещицы Незвановой, у этой ханжи и святоши, как он себе ее представлял. С Незвановой он знаком не был, но до него доходили разные сведения. Сухоруков решил поручить это дело своему сыну. «Пускай и он постарается, – думалось ему. – Ведь обоим нам выкручиваться». Для осуществления предприятия отец снабдил сына советами и средствами. Сделать это можно тонко и осторожно. Сын может для этого наладить людей из наиболее смелых и рабски преданных крепостных. Старуха Незванова живет сравнительно недалеко от Сухоруковых. Никому в голову не придет на них, Сухоруковых, подумать, когда затеянное будет исполнено.

Василий Алексеевич знал от отца, что дела их последнее время пошатнулись, что им может угрожать катастрофа. Однако он верил в отца, верил в его умение выходить из трудных положений. Это отцовское умение проявлялось раньше в остроумных комбинациях, которые старику удавалось осуществлять. Но Василий Алексеевич никак не предполагал, что отрадинские дела стали уж так плохи что придется прибегать к отчаянным средствам. К тому же молодой Сухоруков не был еще в такой степени испорчен нравственно, как отец. Ничего подобного ему в голову и прийти не могло. Его грешному образу жизни был все-таки еще положен известный предел.

Но вот однажды старик Сухоруков позвал к себе сына и открыл ему свои намерения. В первую минуту сын совсем было опешил. Он молчал и большими глазами смотрел на отца.

– Что ты так смотришь на меня, Василий? – сказал старик. – Что тебя так удивляет? Нужда, любезный друг, заставит калачи есть... И не то еще бывает... Ведь как тебе известно, есть два сорта людей. Есть люди умные и решительные, есть дураки и трусливые душонки. Бывают и гениальные люди, как наш гость недавний Наполеон, который, когда ему везло, преспокойно завладевал тем, что хотел взять. Мы с тобой, конечно, не Наполеоны... Куда нам в гении, но дураками тоже не будем. Не ложиться же нам под обух... А этой Незвановой деньги и не нужны. Она по глупости и скупости своей их копит. Проживет прекрасно и без денег.

У нее недурная деревенька. Таких глупых баб, как эта старуха, и поучить не бесполезно; не бесполезно для них же самих...

Василий Алексеевич не сразу пришел в себя от речи отца и сделанных предложений. Он просил отца подождать с окончательным решением. Он обещал дать ответ через два – три дня.

Здесь следует сказать, что, хотя влияние Алексея Петровича на сына было очень велико, Василию Алексеевичу было все-таки жутко очертя голову броситься в задуманное дело. Надо было собрать сведения, рассчитать шансы на успех. Надо было, наконец, проникнуться прочно доводами отца. Правда, положение было, как выяснил отец, отчаянное, но у Василия было другое препятствие: у него не заглохла еще внутренняя совесть. Подсознательная сфера предъявляла свои права. Бывали, хотя и редко, у молодого Сухорукова такие настроения, когда он вспоминал свою умершую мать – этот свет его души, свет, который в редкие минуты вспыхивал у него непроизвольно.

Но теперь, после разговора с отцом и некоторой внутренней борьбы, у Василия Алексеевича совесть стала отходить на второй план. Он был тогда далек от воспоминаний о матери. Мысль его окунулась в другую область.

Ему пришлось в голову посоветоваться со странником Никиткой относительно затеваемого предприятия. После излечения Машуры Василий Алексеевич уверовал в ум Никитки и его особую силу. Молодому Сухорукову казалось, что Никитка ему предан. Да наконец, думалось ему, если бы когда-нибудь Никитка и встал во враждебное отношение, то он в таком случае не мог бы ему навредить. Сухоруков не боялся открыться Никитке, считая положение этого юродивого совсем ничтожным. Да оно и было таковым в действительности в те времена крепостничества и самоуправства господ.

Кстати случилось так, что за Никиткой и посылать было не надо; не надо было его разыскивать. За последние дни Никитка поселился на хуторе Машуры рядом с ее домом в маленькой сторожке. Устроила Никитку в сторожке Евфросинья; она чувствовала уважение к страннику. О, на жалела «старца» – так она его называла, почитая за святого. Евфросинья уговорила Никитку хоть немного погостить на хуторе. Но «старец» неохотно примирялся с оседлым образом жизни. Он ежедневно исчезал с хутора, бегая по ближайшим деревням и по ярмаркам. Возвращался он к ночи, да и то не каждый день. Евфросинья старалась, чем могла, его пригласить. Никитка любил, как он сам признавался, монашескую икорку, рыбку, любил медком полакомиться. Все это в изобилии приносилось в сторожку. Сторожка была вычищена для Никитки, лавки вымыты. По стенам были расклеены лубочные картины поучительного содержания: о праведном житии или с устрашающими изображениями демонской силы, а также страшного суда с красным огнем и большим зеленым змием, поглощающим души грешников. В углу сторожки был поставлен аналой перед старинной деревянной иконой.

На аналое лежали восковые свечи. Все это было припасено для Никитки, который любил, как он говорил, предаваться по ночам «молитвенному деланию».

После беседы с отцом Василий Алексеевич ночевал у Машуры. От Машуры он зашел к Никитке в сторожку. Странник его встретил с великой радостью.

– Се припаду ниц к господину моему, – сказал он, отвечивая Василию Алексеевичу поясной поклон, касаясь рукой до земли.

– Не надо твоих поклонов, – сказал Василий Алексеевич. – Сиди смирно. Чего там раскланялся... Я не поп.

– Молю о тебе Господа Бога моего и денно и ночью, – продолжал тем же тоном Никитка, – ибо ежедневно мне от твоих милостей приношение, и самоварчик утречком несут, и угощение разное.

– Ну и отлично, коли нравится. Живи да поживай, – сказал Сухоруков, садясь на лавку.

– Ох, недолго сие будет, – отвечал со вздохом странник, – скоро мне в дальний путь, ваше сиятельство.

- Куда? – удивленно спросил Сухоруков.
- В Киев, родненький, в святые места... Душу томить вознестися горе... к угодникам Божиим...
- Однако с чего ты это вздумал? Когда ты едешь? – допрашивал Сухоруков.
- Не еду, а шествую по образу хождения пешего, и будет сие во вторник на той неделе. Сухоруков умолк. Прошло несколько секунд молчания.
- Вы, ваше сиятельство, насчет Машуры не сумлевайтесь, – ослабился вдруг Никитка. – Здесь я теперь, значит, не нужен. Она сейчас хорошо налажена...
- Не то, Никитка, не то говоришь, – резко сказал Сухоруков. – Не в Машуре дело... Другое тут есть, – начал Василий Алексеевич. – Ты знаешь ли старуху Незванову... Помещицу... Поблизости, в Чермошпах?
- Как не знать, – отвечал Никитка.
- Наверное, у нее бывал? Расскажи, как она живет. Мне хочется знать.
- Как живет? Да живет, мошну набивает, на сундуке сидит... Старухи тоже у нее разные... Ей все причитают: благодетельница ты наша, благодетельница, а за спиной у нее воруют, и староста ворует, а мужики пьянствуют. Меня не взлюбила, старосте велела прогнать; чуть собаками, окаянные, не затравили. Закричала на меня – пустосвят ты! А сама праведницу из себя строит. Тоже в церкву любит ходить... Свечи ставит... Ризы жертвует... По пяточку нищим подает... Дура!..
- А живет-то она как?.. С опаской?..
- Не знаю, ваше сиятельство, какие у нее там порядки. Я у нее всего один раз и был. Не взлюбила она меня... Да ты, сиятельство, что такое затеял? – сказал вдруг Никитка. Он воззрился своими черненькими глазками на Сухорукова.
- Сухоруков был не из робких. Прямота Никитки ему понравилась.
- Хочу с тобой посоветоваться. Ты ведь «старец», – сыронизировал Василий Алексеевич. – Хочу у старухи Незвановой денег занять.
- Дело мудреное, – сказал Никитка, пытливо смотря на барина. – Как у нее займешь? Какими молитвами подъедешь?
- В этом ты можешь мне пособить, – возразил Сухоруков. – Ведь наладил же ты тогда мою Машуру. Наладь и старуху: пускай она этот свой сундук мне отопрет... Мы тогда и возьмем, что надо.
- Прошло несколько секунд молчания. Сухоруков внимательно смотрел на Никитку.
- Ишь, чего затеял! – тихо сказал Никитка.
- Деньги нужны, и деньги большие... – многозначительно и с расстановкой проговорил Сухоруков.
- Я тут ничего не могу, – объявил Никитка, почесывая затылок. – А вот человечка тебе в услужение для этого дела я укажу.
- Не можешь?! Почему не можешь? – допытывался Сухоруков.
- Сила в ней есть, в этой старухе, – заговорил странник. – Ее не переломишь... Я уже пробовал, не дается. Главное, к себе не подпускает... Только бы к ней подойти, тогда навалился бы... Да это все едино. Говорю тебе верно – я тебе хорошего человечка дам, – утверждал Никитка.
- Какого человечка? Ты не путаешь ли, любезный...
- Ничего не путаю, – отвечал Никитка. – Самый настоящий для этого дела человек. И у нее, значит, бывал; все ее повадки знает. Знает, где что лежит. Все тебе укажет и сон на нее наведет... Такой сон наведет, – продолжал многозначительно и с большим убеждением странник, – что ничего старуха не услышит. Приходи и бери, что нужно...
- Где же живет этот приятель твой? – заинтересовался Василий Алексеевич.

– И живет он от нее близко; всего в двух верстах на пасеке в лесу. Сам он пчелинец. И сила у него по заговору большая. Только вот насчет молитвы он плох; этого не может. Во святых ему не быть... – пояснил Никитка. – Не старец он а, значит, колдун... Креста боится...

– А ты креста не боишься? – спросил Сухоруков.

– Мне чего креста бояться. Наша жизнь праведная, – с гордостью сказал странник.

– Как зовут этого твоего колдуна?

– Зовут Батогиным, Иваном Батогиным. Он – казенный мужик, вольный. И живет он на опушке леса у самой дороги, – Странник стал подробно объяснять Сухорукову, как найти Батогина. – Да что там толковать, – закончил он свою речь, – я уж, куда ни шло, сам пособлю тебе. Вот сейчас, ваше сиятельство, в дорогу к нему и снаряжусь. К ночи туда доберусь. Его налажу... Объясню ему, что ты к нему приедешь... Когда ждать-то прикажешь?

– Как у тебя все скоро идет, – улыбнулся Сухоруков. – Ты лучше другое мне скажи – скажи, верный ли он человек? Стоит ли с ним связываться? – с сомнением в голосе проговорил Василий Алексеевич.

– Я тебе говорю, что будет для тебя верный, – убеждал Никитка. – Уж я его налажу. Ты мне верь. Как перед Христом говорю.

Сухоруков стал раздумывать. Убеждения Никитки на него подействовали.

– Что же, – сказал он наконец, – скажи, пожалуй, твоему этому колдуну, что завтра у него буду вечером, а там видно будет.

Сухоруков встал, потянулся и взял шапку. – Ну, Никитка, прощай... уезжать нужно, – объявил он.

Уходя, Сухоруков обратил внимание на аналой со свечами, стоявший в углу сторожки.

– Это что же у тебя, для молитв твоих пристроено? Спасаясь, старец? – спросил он с иронией.

– О вас, благодетелях моих, денно и ночью молю Бога моего, – отвечал Никитка тем же елеиным тоном, как и при встрече барина.

Сухоруков направился к двери, провожаемый низкими поклонами, вышел на крылечко. Стремянный поджидал барина с оседланной лошастью. Сухоруков легко вскочил на подведенного коня и благосклонно кивнул Никитке.

Улыбнулся он и Машуре, проезжая мимо ее домика.

Машура смотрела из оконца на своего повелителя. Она выглядывала из-за кисейной занавески, приподняв к глазам белую красивую руку, чтобы защититься от сверкающего солнца.

Она следила, как Сухоруков вышел от Никитки, как садился на коня, как, тихо проехав мимо ее окна, взглянул на нее с самодовольной приветливой улыбкой... как он после того быстро исчез за лесной чащей, сопровождаемый своим стремянным.

VI

Василию Алексеевичу надо было не медлить ответом отцу относительно предстоящего «сумасшедшего действия». Таким выражением Василий Алексеевич окрестил все это предприятие, затеянное отцом. С решением надо было спешить, потому что положение отрадинского имения было действительно критическое. После описанного разговора с сыном отец уже на другой день несколько раз посылал за ним на его половину, но того не было дома. У старика, что называется, загорелось. Он чувствовал, что срок последнего платежа подходит, что дни сочтены.

И вот, в тот же день, когда Василий Алексеевич имел описанный нами разговор со странником, он, обдумав наскоро предприятие, объявил вечером отцу, что согласен решиться, что отважится на рискованное дело. Он передал отцу, какой у него сложился план будущих действий. Завтра он с доезжачим Павлом Маскаевым, человеком самым отчаянным из всей господской

дворни, отправится вечером на верховых лошадях к колдуну Батогину за сорок верст на его хутор, что в двух верстах от Незвановой. Доезжачий Маскаев был выбран Сухоруковым как верный слуга и еще потому, что раньше бывал в усадьбе старухи. У него там когда-то жила родственница. Этот Маскаев знал расположение усадьбы, знал даже расположение некоторых комнат в барском доме. Прибыв к ночи с Маскаевым на хутор колдуна, Сухоруков постарается получить от колдуна точные сведения относительно старухи. Если все сложится удачно, то Сухоруков тут же снарядит за деньгами доезжачего Павла. Сам же будет ожидать возвращения Павла с добычей в батогинской избе.

Сложился у Василия Алексеевича такой план, потому что он верил Никитке, верил в его рекомендацию колдуна, верил в особую силу, которую может проявить колдун. Он надеялся, что колдун может навести на старуху крепкий сон, надеялся, что все обойдется благополучно.

Предполагалось далее, что Сухоруков с Павлом вернутся домой к свету, когда дома все будут еще спать.

Для поездки решено было выбрать из конюшни двух самых выносливых лошадей, которые легко бы сделали с небольшой передышкой восемьдесят верст туда и обратно.

План этот был, конечно, отчаянный, но и положение в Отрадном было отчаянное. Надо было действовать. Отец одобрил план. На том и порешили.

VII

На следующий день около девяти часов вечера Василий Алексеевич с доезжачим Павлом Маскаевым приехали верхами к Ивану Батогину на его хутор. Еще в Отрадном, перед отправлением, Сухоруков посвятил Маскаева в цель поездки и в то, что он, Маскаев, должен исполнить. Василий Алексеевич обещал Маскаеву, если все удастся, дать вольную, т. е. предоставить ему то величайшее благо, о коем могли мечтать в то время крепостные. Маскаев поклялся барину, что готов для него в огонь и в воду.

Иван Батогин, к которому приехали ночные гости, был рыжий мужик лет около пятидесяти, плечистый, с крупной головой, ушедшей в крупные плечи. Смотрел он больше исподлобья. Взгляд его был суровый и тяжелый. Жил он на хуторе у самой опушки казенного леса со своим сыном Митькой, малым невзрачным, глухонемым от рождения.

Уже порядочно стемнело, когда Сухоруков с Маскаевым подъехали к хутору колдуна. Большая цепная собака, привязанная у самого крыльца батогинской избы, встретила гостей отчаянным хриплым лаем. Она бросалась во все стороны, как бешеная, вспрыгивала, становилась на задние лапы, удерживаемая цепью, опрокидывавшей ее назад. На крыльце показался колдун.

– Это ты Батогин? – спросил Сухоруков.

– Я самый и есть, – отвечал колдун.

– Странник Никитка здесь? Я его не вижу.

– На ярмарку ушел, в Кирики. Там нынче праздник.

– Ну, шут с ним, – сказал Сухоруков. – На ярмарку, так на ярмарку.

Он слез с лошади и передал ее доезжачему.

– Ты вот что, любезный, – обратился он к колдуну, – отвори-ка ворота. Мой человек лошадей на место у тебя поставит. Корму им дай.

– Дадим, дадим, – ответил Батогин. – Сами-то вы, барин, в горницу пожалуйте.

– Прежде чем в избу звать, собаку от крыльца отведи. Видишь, бросается.

Колдун цыкнул на собаку и оттянул ее от крыльца.

– Пожалуйте, барин. Я вас с самого вечера жду, – продолжал колдун нежным тоном, который так не шел к его угрюмой фигуре. – Сейчас к вам приду.

– Маскаев! – крикнул Сухоруков доезжачему. – Ты пока побудешь с лошадьми. Я тебя позову.

Сухоруков вошел в избу. Осмотревшись, он сел на лавку. Изба освещалась лучиной, воткнутой в рогульку, укрепленную на печке. Лучина горела, мерцая, и трещала, давая копоть. В избе было неприветливо и пусто. Стены были закопчены, и кроме длинных лавок, небольшого стола в углу, да неуклюжей печи рядом с входной дверью, ничего не было.

Немного погодя вошел в избу и колдун. Он плотно притворил за собой дверь.

– С самого вечера вас, барин, ждал, – заговорил Батогин тем же сладким, мягким тоном, что и при встрече. – Уж это Никитка за вас больно просил. Что ж! Мы, значит, постараемся...

– Постарайся – награждение получишь, – благосклонно произнес Василий Алексеевич. – Сухоруковы мужиков не обманывают.

– Денег мы не берем, – угрюмо отрезал колдун. Сухоруков с удивлением посмотрел на колдуна.

– Денег мы не берем, барин, – продолжал колдун. – Мы, значит, из чести... И, окромя того, я на нее зол... Она про меня дурную молву распускает. Посмотрю теперь, как она завертится, когда деньги у нее вынут.

– Это хорошо, Батогин. Ты мне нравишься.

– А кто у вас к ней... забираться будет? – спросил вдруг колдун. – Кто деньги-то будет красть? – приступил он к делу довольно бесцеремонно. – Вы сами или этот, что ли, что с вами приехал?

Сухорукова покорило, но он сдержался и ответил:

– Думаю доезжачему поручить. Маскаев здешние места знает. В ее усадьбе бывал и малый лихой.

– Пособим, пособим, – сочувственно продолжал колдун. – Очень даже хочу вам, барин, пособить. И знаем мы хорошо, где деньги у нее лежат. Лежат они в спальней, в киоте за образами. Там у нее железная небольшая шкатулка спрятана... устюжской работы... Замок у шкатулки со звоном... В ней и ассигнации и деньги... Прямо бери ее целиком, и ломать не надо... И окошко в спальней от земли не высоко... в сад выходит. И собак в саду нет. Надо, значит, забраться от реки прямо в сад...

– Спит-то она одна? – решил, наконец, спросить Сухоруков.

– Одна спит, – отвечал колдун, махнув рукой. – Правда, старухи там у нее две рядом в комнате, да они не слышат...

– Это все хорошо... А вот что ты мне скажи, – многозначительно проговорил Василий Алексеевич, – ты на нее сон крепкий отсюда навести можешь?

Батогин молчал.

– Ты мне серьезно ответь, – продолжал Василий Алексеевич. – Я буду с тобой откровенен... Ведь, сам понимаешь, риск тут большой. Не хочу я доезжачего подводить, да и для себя зорно в уголовное дело вляпаться.

– Коли он пособит, тогда все можно, – отвечал твердо Батогин. – Могу тогда и сон на нее навести...

– Кто это он, пособит?

– Недогадливый ты, барин, – мрачно сказал Батогин. – Если хочешь назову: диавол.

– Что же... ты с ним разговоры поведешь? – допытывался Сухоруков.

– Вместе поведем эти разговоры; с тобой вместе... в компании, значит, – сказал Батогин, – пойдем вместе ведовать.

– Это что же будет?

– Там в лесу у меня место такое есть... Я сейчас сына пошлю костер развести. Там и увидишь, что будет.

– Маскаева брат? – спросил после раздумья Сухоруков.

– Нет, пушай выспится около лошадей... Ему проспаться надо, коли решил ты его к ней снаряжать... Вот что, барин, я пойду сейчас к лошадям; ему заодно все скажу, как и что надо делать... А когда ему идти, вы уж, значит, сами его позовете и ему прикажете...

Сухоруков кивнул головой в знак согласия. Колдун вышел из избы.

Сухоруков понимал все значение согласия, данного колдуну, понимал значение происшедшего с колдуном разговора. Но это не пугало Сухорукова. Он был не из робких. «Решаться так решаться...» – пронеслось в его голове.

Через несколько минут колдун вернулся.

– Объяснил все и уложил Маскаева спать в телегу, – объявил Батогин, – и сына послал в лес костер разводить.

Колдун подошел к столу, за которым сидел Сухоруков. Постояв немного, он сел на лавку рядом с барином.

– Мы с тобой здесь пока, значит, посидим да покалякаем, – сказал он довольно фамильярно. – Уж ты позволь мне посидеть около тебя, уморился я стоять-то...

Сидя на лавке у стола, Батогин поглядывал исподлобья на Сухорукова. Он, по-видимому, не особенно стеснялся своего гостя.

Лучина вспыхивала и освещала скуластое лицо колдуна, обросшее рыжей бородой, с волчьим тяжелым взглядом. Вся эта обстановка общения с колдуном для Василия Алексеевича казалась совсем странной. Этот дерзкий мужик, сидящий рядом с барином, был явлением, по тогдашним временам, необыкновенным.

– Тут еще одна закавыка есть, – прервал наконец молчание колдун. – Крест может вам помешать... Все дело может испортить...

– Крест! Какой крест? – удивился Сухоруков.

– А который у тебя на шее. Его надо снять! – сказал Батогин. – Крест ты с себя, значит, сними.

Лицо Василия Алексеевича сделалось серьезным.

– Креста я не сниму, – сказал он. – Это благословение моей матери.

– Тогда нечего нам и соваться, – объявил колдун. – Тогда сами, барин, делайте... Дело ваше и ответ ваш. Коли ты в кресте будешь, я ведовать не пойду.

Тяжело было Сухорукову расстаться с заветной вещью, хоть он и смеялся, как он говорил, над всяким таким суеверием. Крест этот был все-таки дорог Василию Алексеевичу. С мыслью о нем соединялось воспоминание о матери. Он вспомнил, как она однажды, обнимая его, еще ребенка, надела на его шею этот крест на золотой цепочке.

– Ну что же, барин, надо решаться, коли удачи хочешь. Чего тянуть-то... – настаивал колдун.

Сухоруков сделал усилие, отстегнул ворот, снял крест на цепочке с шеи и положил его на стол.

– За печку его закинь, – не унимался колдун. – За печку надо его бросить, – пояснил он.

Сухоруков взял со стола крест, подошел к печке и бросил его за трубу.

– Ну вот, теперь ладно! – сказал Батогин. – Теперь можно и в лес.

Колдун снял со стены висевший на гвозде фонарь, вынул из него сальную свечу, зажег ее об лучину и поставил свечу опять в фонарь на свое место. Лучину он погасил.

Они вышли.

VIII

Летняя ночь пахнула своим дыханием на Сухорукова, когда он вместе с колдуном вышел из избы. Царила торжественная тишина. Тишина эта была неожиданно нарушена рычанием собаки, лежавшей под крыльцом, но собака тотчас умолкла, получив окрик от своего хозяина.

Василия Алексеевича всего сразу охватило впечатление от этой торжественной ночной тишины. Его охватило впечатление от чистого, прозрачного небесного свода, расprostертого над ним, безмолвно на него смотревшего; от горевшего тысячами звезд бездонного пространства небесного – пространства с мириадами неведомых жизней... Что-то таинственное было во всем этом, что-то бесконечно значительное, проникавшее глубоко в душу... Что это было такое, Василий Алексеевич не понимал. Но то, что он сейчас почувствовал, унесло его далеко от совершившегося в избе.

– Сюда, барин, не споткнись, тут канавка, – говорил колдун, идя впереди Сухорукова и освещая путь фонарем. Они обходили пчелиную пасеку. Колодки пчел вырисовывались в стороне.

Они вошли в лес, скрывший от глаз Сухорукова небесный свод. В лесу было темно, так темно, что без фонаря и сам колдун не пробрался бы по извилистой тропинке.

Не мог отдать себе отчета в своем теперешнем душевном настроении Василий Алексеевич. Ему стало вдруг тяжело.

«Откуда эта тяжесть?» – спрашивал он себя. Ведь вот теперь, решаясь на рискованное дело, которое должно было спасти свободу его и отца, спасти их право удовлетворять своим желанием наслаждаться жизнью, как они хотели, – идя на это дело, он, Сухоруков, привыкший верить в себя, в силу своих решений, в свою удачу, вдруг ощутил какую-то жуть.

И чего ему было бояться? Все, казалось, ладилось... Безумное предприятие обещало осуществиться. Ведь не в таких еще переделках он бывал... Пережил он сколько раз и отчаянный риск бретерства и дуэли... И поединок один на один с медведем. Что же сейчас его томило и мучило? И эта чудная ночь, которая так сразу его охватила, и она куда-то ушла, и на сердце лежит камень, лежит мучительно, и он, Сухоруков, не может с себя его стряхнуть...

«Это крест я с себя снял, – мелькнуло в мозгу Василия Алексеевича, – мать обидел». Но на это сейчас же появилась на лице его насмешливая улыбка. В ответ у него сейчас же блеснула ироническая мысль: «Где это она там? Откуда это видит? Чего я кисну!.. Ведь это же все дурацкие страхи».

Он шел за колдуном, погруженный в свои тревожные думы.

Колдун медленно продвигался вперед по тропинке, минуя разные преграды, которых бывает так много в дремучем лесу. Он освещал фонарем дорожку. От фонаря ложились причудливые тени по ближайшим сучьям деревьев и по кустам. Шаги пешеходов тревожили ночную тишь... Вот они спугнули из мелькнувшего дупла какую-то большую птицу, которая пролетела в сторону, резко захлопав крыльями. Пройдя еще немного, колдун и Сухоруков вошли в сосновый лес с красными стволами, поочередно освещаемыми фонарем. Наконец вдали за деревьями показался огонек.

– Это Митька костер зажег... – пояснил колдун. Еще несколько минут, и они вышли на небольшую поляну посреди старого хвойного леса, стоящего стеной вокруг. Место было глухое.

На поляне горел небольшой костер. На фоне костра вырисовывалась фигура сидящего у огня сына колдуна. Митька подкладывал в огонь хворост, набранный в лесу.

Колдун и Сухоруков подошли к костру. При свете огня было видно, что здесь место кругом костра было расчищено, что была снята трава – был сделан ток, как это делают мужики на гумнах для молотбы хлеба.

– Вот, барин, здесь и остановка, здесь и посмотришь, как мы с Митькой колдовать начнем, – сказал Батогин. – Только... чур, не пугаться... робеть нельзя. А Митька у меня малый твердый и все понимает, даром что глухой и немой, – разъяснял колдун. – Митька глаза моего слушается; он чувствует, что надо. Вы, бары и офицеры там разные, этого не понимаете... не понимаете, как в молчанку можно разговаривать и приказания давать, а мы знаем, что такое дух, какая в человеке сила...

Митька обернулся лицом к отцу. Лицо Митьки ослабло улыбкой. Точно он действительно понимал, о чем сейчас говорил отец.

Колдун взял топор, лежавший у костра, направился к лесу и скоро исчез в темноте.

Вся эта необычайная обстановка, в которую попал Сухоруков, эти странные отец и сын, приготовлявшие что-то таинственное и значительное, не могли не поразить воображение Василия Алексеевича. Нервы его были напряжены. Он внимательно вглядывался во все окружающее. Он обратил внимание на то, что около огня, кроме небольшой кучи хвороста, лежала еще другая куча с какой-то не то хвоей, не то травой. Сухоруков недоумевал, зачем это колдун взял топор и ушел.

Через несколько секунд это разъяснилось – колдун вернулся к костру, держа в руках небольшой кол. Он нагнулся у костра и начал топором его обтесывать и заострять.

– Что это у тебя здесь приготовлено? – сказал Сухоруков колдуну, показывая на кучу с травой.

Колдун оторвал голову от работы и, взглянув на Сухорукова, ответил:

– Это, барин, вереск. Разве не знаешь? Не видывал? У нас в казенном лесу его много. Мы его жечь будем...

Колдун закончил обтесывать и заострять кол, бросил топор на землю. Сухоруков заметил, что лицо колдуна сделалось сосредоточенным и серьезным.

– Ну, барин, я дело начну, – строго объявил Батогин.

Колдун встал в торжественную позу перед костром и что-то забормотал. Он приподнял кол острием вверх над головой и держал его таким образом несколько секунд. Затем он внезапно обвел колом вокруг своей головы, продолжая тихо говорить что-то непонятное. Пробормотав еще немного, он отошел от костра и начал острием кола, нажимая на него во всю силу, очерчивать линию вокруг костра.

Сухоруков с любопытством молча наблюдал за колдуном; он проникался серьезностью того, что делалось. Василий Алексеевич сознавал, что не следует разными вопросами мешать Батогину, не следует выбивать его из его настроения.

Когда колдун очертил на току острием кола большой круг, то, обратившись вдруг к Сухорукову, повелительно ему сказал:

– За круг, барин, не ходи. Там опасно. Стой у костра.

Василий Алексеевич решил во всем повиноваться колдуну и не двигался. Между тем Митька, расположившийся у самого костра, поддерживал огонь, бросая хворост.

Огонь разгорался, охватывая своим прерывистым светом весь ток с резко очерченной линией, охватывая и густую траву за границей тока. Лишь немного дальше свет этот поглощался окрестной тьмой, в которой тонула стена деревьев, окружавших поляну.

Колдун приступил к заклинаниям. Он взял небольшую охапку вереска и бросил его в огонь. Вереск затрещал, от него поднялся беловатый дым.

Сухоруков почувствовал одуряющий запах вереска. Колдун стоял у костра в самом чаду... Сначала он бормотал что-то негромко, потом стал издавать глухим голосом какие-то странные завывания. Что это были за звуки, Сухоруков не мог уловить. Это были бессловесные звуки с различными переливами и интонацией без всякого ритма и правильности. Временами это было что-то судорожное, дрожащее, иногда как бы задыхающееся, после чего вырывались даже вскрикивания. Колдун вдруг затрясся. Он побледнел и сделался страшен. Сквозь его вой Сухоруков разобрал прерывающиеся слова:

– Черная власть... Сила дремучая, начинай... Злоба могучая, пособи... Все тебе отдали... Кресте себя снял...

«Опять крест!»... – Сухорукову сделалось больно и жутко на душе.

Колдун повернулся в сторону усадьбы Незвановой. И вот что Сухоруков отчетливо услышал из заклинаний колдуна.

– Вырви ей глаза... Вырви ей сердце. Пусть спит... Без просыпу... Всю эту ночь. Но тут случилось нечто совсем неожиданное.

Колдун закричал отчаянным голосом, что есть силы. От его крика эхо отозвалось в лесу. «Вижу ее, – закричал он, – вижу, стоит у киота... молится... крестится!» После этих слов колдун грохнулся всей своей тяжестью около Сухорукова на земляной ток. Словно что-то швырнуло его на землю.

Сухорукову сделалось совсем страшно. Он едва не бросился бежать из круга. Вдруг ему показалось, что кто-то схватил его сзади за плечи. Тут же он почувствовал, что его больно кольнуло в поясницу. Он чуть не вскрикнул.

Поверженный на землю колдун поднял голову, опираясь на руки. Он дико озирался кругом с запекшейся пеной у рта.

– Не могу, барин, – проговорил он наконец с блуждающим взором. – Не могу совсем... Она теперь молится... Сегодня надо бросить... Я весь истратился... Митька, – взглянул он на сына, – проводи барина домой, я потом приду. – Сухоруков тяжело переводил дыхание. Сердце его усиленно билось.

Митька, внимательно вглядываясь в отца, понял его и взялся за фонарь, который лежал тут же.

Сухоруков не мог больше оставаться. Что-то тяжелое давило его плечи, сдавливало сильнее и сильнее. Он рванулся из круга и пошел быстрыми шагами к лесу. Куда девалось его мужество! Митька кинулся за баринком. Они оба исчезли в темноте.

Колдун остался на току один. Он впал в забытие, лежал словно без чувств. Тихо стало кругом.

Костер догорал последним пламенем.

IX

Сухоруков, так стремительно рванувшийся к лесу по поляне, чуть было не упал, споткнувшись о небольшой пенек. Это заставило его опомниться и прийти несколько в себя. Он остановился. Перед ним стеной стоял темный дремучий лес. Василий Алексеевич не знал, куда идти. Его выручил Митька, который, подбежав к Сухорукову с фонарем, дернул барина за рукав и показал рукой направление. Они нашли тропинку и вошли в лес.

У Сухорукова было одно чувство, одно желание – уйти, скрыться, уехать домой, убежать, куда глаза глядят. Он был разбит нравственно и физически. Правда, физическое чувство боли и сдавленности в плечах, которое он внезапно ощутил после страшного крика колдуна и его падения, теперь прошло. Не было также и боли в пояснице, что так его тогда поразила; но ему все-таки было очень не по себе. Он чувствовал недомогание и не знал, что делать и куда деваться.

Они пришли в избу. Митька зажег лучину и сейчас же ушел. Сухоруков сел на лавку у стола. Он опустил на руки отяжелевшую голову и застыл в этой позе, ничего не видя и не слыша.

То, что совершилось сейчас в лесу, беспорядочно проносилось в его голове. Роились вопросы один за другим: «Какая это сила бросила колдуна на землю? Ведь притворства тут не было!.. Что значат эти крики колдуна, что „она молится“, что значат эти болевые прикосновения, которые он внезапно почувствовал?» Сухоруков начинал убеждаться, что действительно ощутил прикосновение какой-то силы. «Это было! Это было!» – говорил он себе.

Василий Алексеевич продолжал сидеть у стола в той же застывшей позе. Страшная усталость и недомогание, которые он чувствовал, брали свое. Лучина понемногу догорала, тихо потрескивая. Наконец она погасла, и в избе воцарился мрак. Сухоруков закрыл глаза... Еще минута, и он забылся в тревожном сне.

Сухоруков увидел сон, который ему остался памятен на всю жизнь.

Он увидел себя сидящим в своем кабинете. Перед ним стоял странник Никитка в почтительной позе и говорил ему: «Нешто забыл слова мои насчет молитвы. Ведь я говорил тебе, что молитвы колдун боится. Так и вышло... И крест снял ты, ваше сиятельство, без всякой пользы... Надо по-новому начинать... Кистенем ее, дуру, кистенем... Зови Маскаева. Он не промахнется... Пойдем во двор».

И вот Сухоруков видит, что они очутились на дворе батогинской избы. Маскаев спит в телеге. Они начинают будить Маскаева.

«Да ведь надо кистень ему дать, – вспоминает Сухоруков. – Кистень у меня на стенке в кабинете висит».

Сон переносит Сухорукова опять в кабинет. Ему чудится, что он ищет на стене между старинным оружием кистень, который третьего дня еще ему принесли мужики из разрытого кургана. Он его тут повесил. «Где же кистень?»

Но здесь случилось нечто страшное даже и для воспоминаний об этом сне.

Оторвавшись от стены, Сухоруков увидел в дверях свою мать.

Она стояла, как живая, – такая ясная, несомненная... и такая строгая. Она смотрела своими темными глазами на сына в упор. Она сделала несколько решительных шагов по направлению к тому месту, где был Василий Алексеевич, и схватила его за руку. Подвела сына к большому зеркалу, висящему в кабинете, и сказала:

– Василий Алексеевич, посмотрите, кто вы!

В зеркале Василий Алексеевич увидел дьявола. Сухоруков не сомневался, что это был дьявол, ибо он в зеркале увидел искаженное злобой обличье существа не то человеческого, не то звериного. Сухоруков не мог оторвать своего взора от этого страшного образа, на него смотревшего. И вдруг узнал в этом злом, отвратительном лице с искаженной улыбкой самого себя, свои черты. Это был его двойник. Сухоруков вскрикнул. Затем все смешалось.

Он проснулся и открыл глаза.

В избе брезжил свет. Рассветало. Василий Алексеевич поднял голову и провел рукой по лицу. Он окончательно пришел в себя, и в его душе произошел великий нравственный перелом. Он решил бросить все затеянное дело, хотя бы это грозило ссорой с отцом, хотя бы это грозило потерей положения богатого помещика.

Поднявшись с лавки, он увидел стоявшего в дверях колдуна. Тот, по-видимому, уже успел оправиться от ночной переделки и вернуться из леса.

– Не ладно спишь, барин, – сказал колдун. – Эка раскричался, словно тебя резали.

– Скажи Маскаеву, – объявил в ответ Сухоруков, – чтобы сейчас же седлал лошадей. Мне нужно домой...

Колдун посмотрел с удивлением на Сухорукова и вышел из избы исполнять приказание.

Через несколько минут лошади были подведены к крыльцу.

– Прощай, Батогин, – сказал Сухоруков провожавшему его колдуну и вскочил в седло. – Да, вот что, – объявил он, сидя уже на лошади. – Поищи мой крест у себя за печкой. Чтобы непременно его найти, слышишь! И мне представить в Отрадное.

– Сам поищи, – дерзко отвечал Батогин. – Сам забросил, сам и ищи. Твое дело.

– Коли не найдешь, – пригрозил Сухоруков, – пришло сюда искать моих охотников. Они твою избу по бревнам разнесут.

– Присылай, коли охота. Не боюсь я твоих охотников, – огрызнулся колдун.

Всадники помчались домой.

Х

Василий Алексеевич со своим доезжачим вернулся в Отрадное утром, когда солнце уже порядочно поднялось. Старик Сухоруков еще спал. Обыкновенно он вставал в восемь часов. Но в барской усадьбе жизнь уже началась. Дворецкий покрикивал на рабочих, которые мели двор. Садовники возились в цветнике; шла поливка клумб. Из людской, стоявшей в стороне от дома, доносились шутки и смех.

Василия Алексеевича встретил у подъезда его камердинер, старый Захар. Он принял с глубоким поклоном от барина шапку и арапельник и поспешил за барином в спальню, чтобы помочь скорее ему умыться, освежиться и привести себя в порядок после путешествия. Василий Алексеевич знал, что отец, как только встанет, немедленно потребует его к себе, на свою половину.

Здесь надо сказать несколько слов о расположении отрадинского дома.

Дом этот представлял из себя в действительности три отдельных здания. Главное здание, находившееся в середине, где были парадные комнаты и комнаты для гостей, соединялось загибающимися с обеих сторон галереями с двумя большими флигелями. В этих флигелях, составлявших крылья главного дома, и жили в одном Сухоруков-отец, а в другом – Сухоруков-сын. Господа Сухоруковы сходились в большом доме лишь для обеда и ужина или при приеме гостей. Жизнь каждого из них проводилась отдельно. Отец и сын не мешали друг другу в своих привычках. У каждого был свой штат прислуги.

Сухоруков-сын не любил, чтобы в его флигеле находились женские лица. Своих любовниц, как, например, Машуру, он держал в стороне; он помещал их «на дачах», идеализируя, по возможности, свои отношения к этим существам.

У Сухорукова-отца были заведены другие порядки. Во флигеле у него находился один только слуга, принадлежавший к мужской половине рода человеческого. Это был вертлявый пожилой лакей по имени Егор – «домашний фигаро», как его называл Алексей Петрович. Егор, обученный парикмахерскому искусству в Москве, являлся совершенно необходимым для ежедневного «наведения красоты» на своего барина. Остальная прислуга на половине старика Сухорукова была женская, в числе коей играли роль разные «бержерки» и «психеи», взятые из дворовых девиц и вымуштрованные дебелой Лидией Ивановной, главной начальницей над женским персоналом флигеля.

Приведя себя в порядок, Василий Алексеевич перешел в кабинет. Он ждал посланного от отца и готовился к объяснениям. В кабинете он случайно взглянул на стену со старинным оружием. Кистень, который ему третьего дня принесли мужики и который он повесил между оружием, висел и теперь на своем месте.

Он остановил свой взор на этом кистене, и вся картина пережитого сна предстала пред ним. Сухоруков содрогнулся, но сейчас же пришел в себя. Решение его бросить затеянное дело было бесповоротно, и это его успокоило.

– Чаю прикажете подать? – сказал вошедший в кабинет Захар. Он остановился в дверях и смотрел на барина совершенно особенным взглядом – взглядом преданной собаки, если можно так выразиться. Это был старинный тип крепостного, истинный раб своего господина, нянчивший когда-то Василия Алексеевича на своих руках.

– Нет, не надо, – отвечал Василий Алексеевич, – я у отца буду пить.

Прошла минута молчания. Захар не двигался с места.

– Что ты так на меня уставился? – сказал наконец Сухоруков старому слуге, не сводившему глаз с барина.

– Здоровы ли вы, сударь? – проговорил Захар.

– Да ничего... – отвечал Василий Алексеевич, – особенного нездоровья не чувствую.

– Что-то бледны вы очень... И под глазками у вас нехорошо. Ох, уж эти бабы!.. Доведут они вас, – проговорил со вздохом старик.

– Это не бабы, – успокоил Захара Сухоруков. – Я просто устал.

Через минуту вошел посланный от старика Сухорукова.

– Пожалуйте к Алексею Петровичу, вас просят, – объявил он.

Василий Алексеевич отправился на половину отца.

Он застал отца в спальнной, сидящим у окна в шелковом малиновом шлафроке. Василий Алексеевич нашел его уже надушенным и завитым, с трубкой в зубах и со стаканом чая на маленьком столике. Войдя в спальню, сын поздоровался с отцом. Хорошенькая горничная из числа «бержерок» подала молодому барину чай. Когда она вышла из комнаты и затворила за собой дверь, отец, пытливно взглянув на сына, угрюмо проговорил:

– С чем нас поздравить, Василий? Ты, кажется, не в духе... И вид у тебя неважный.

Василий Алексеевич уселся против отца. Глаза его выражали решимость.

– Нехорошее дело мы затеяли, – сказал Василий Алексеевич. Он набрал, что говорится, духу, чтобы отговорить отца. – Дело это нужно бросить; оно к добру не приведет, – твердо объявил он после некоторой паузы.

– Не солоно хлебнул? – сказал старик.

– Я видел мать сегодня ночью во сне, – тихо проговорил Василий Алексеевич, – видел ее, какой она всегда была, светлой, лучезарной... но такой строгой, такой величественной, с очами, проникающими до самого сердца...

Старик сделал большие глаза и уставился на сына.

– Я видел мать, – продолжал молодой Сухоруков, все более и более воодушевляясь, – видел, как вот тебя сейчас вижу. Она вошла в комнату... Взяла меня за руку и подвела к зеркалу. Она показала мне, чем я стал. Это было что-то ужасное... И вот, одно говорю тебе, отец, – не могу, как хочешь... Не требуй от меня невозможного... И тебе советую бросить это скверное дело. Сухоруковы грабежом и убийством еще не занимались...

Алексей Петрович насупился; в его глазах сверкнул злобный огонек...

– Ты видел твою усопшую мать во сне, – отчеканивая каждое слово, злобно сказал старик, – а я вижу сейчас моего сумасшедшего сына наяву. Что с тобой, любезный дружок Васенька? – заговорил он насмешливо. – Какая это у тебя душевная красота народилась? С каких это пор? В каких ты эмпиреях плаваешь? Ты, видно, забыл, Василий, – с горечью продолжал старик, – что через две недели, если мы не добудем денег, нас отсюда вышвырнут вон, что мы будем нищими, что нам, добродетельным праведникам, господам Сухоруковым, придется идти в нахлебники, в позорную бедность...

– Не забыл я ничего, – отвечал, не смущаясь, Василий Алексеевич. – Все я помню, и понимаю, и сознаю, и все-таки знай, отец, что со своей стороны я все сделаю, чтобы затеянное не совершилось... И должен ты, отец, бросить это постыдное дело.

Старик начинал терять самообладание. Глаза его сверкали гневом. Он задыхался. Но Василий Алексеевич ничего этого не видал; ему хотелось высказаться до конца.

– Я тебе, отец, еще больше скажу, – проговорил он, желая освободить свою душу от лежавшего на ней камня. – Мне стала невыносима вся эта наша жизнь... Мне стало очень тяжело, мне надоел весь этот разврат... Но не пришлось дальше продолжать эти излияния Василию Алексеевичу. После последних его слов произошла ужасная сцена. Старик Сухоруков, вне себя от бешенства, вскочил с кресла и что есть силы ударил сына чубуком по голове.

– Сумасшедший выродок! – закричал он громовым голосом. – Лишу тебя всего... Околеешь под забором!

– Сумасшедший не я, а ты, отец! – крикнул в свою очередь Василий Алексеевич.

Он схватился за голову и выбежал из спальнной отца. Пробежал комнаты флигеля, сопровождаемый испуганными взглядами высматривающих из-за дверей робких женских лиц.

Быстрыми шагами пронесся через двор на свою половину в кабинет и бросился на диван, уткнувшись головой в подушку. Сколько он так пролежал, не помнил. Когда пришел в себя, почувствовал сильное недомогание. Началась нервная лихорадка. Его натура, здоровая и крепкая, надломилась. Да и было с чего ей надломиться. Слишком было много потрясений за этот роковой для него день.

XI

В кабинет вошел Захар и испугался, в каком положении застал он барина. Лихорадка трепала молодого Сухорукова. У него, как говорится, зуб на зуб не попадал. Глаза были воспалены, руки дрожали.

Василия Алексеевича уложили в постель, он забылся. К вечеру начался бред.

Надо было обо всем доложить старому барину. Захар решил пойти на его половину. Несмотря на то, что Лидия Ивановна не пускала Захара к старику, говоря, что «они очень расстроены», Захар пробился к Алексею Петровичу. Он доложил о серьезном недомогании молодого Сухорукова. Как ни был зол на сына Алексей Петрович, но распорядился послать лошадей за доктором в уездный город. Уездный город находился в тридцати верстах от Отрадного. Доктора успели привезти лишь на другой день утром.

Ночь у Василия Алексеевича прошла тревожная. Больной продолжал бредить. Он провел ее в каком-то кошмаре.

Ему все снился колдун с его криками и заклинаниями, костер в лесу. Снилось, что колдун кидался на Сухорукова с топором... Что он отбивался от нападений колдуна... Что, наконец, колдун всей силой навалился к нему на плечи. При этом Сухоруков чувствовал боль и тяжесть в плечах и пояснице. Это были те же ощущения сдавленности и боли, что и в тот момент, когда колдун творил в лесу свои заклинания.

Проснулся Сухоруков на другой день, когда начинало рассветать. Голова сильно болела. Удар, полученный от отца, давал себя чувствовать. Захар сидел около своего барина и с тревогой на него смотрел.

Первое ощущение во всем своем существе, которое, помимо головной боли, почувствовал Сухоруков, когда проснулся, – это ему почудилось, что словно какие-то кандалы связали его тело. Он хотел протянуть правую руку к стакану с водой, стоявшему на столике у кровати, но рука не слушалась. Она была неподвижна. Сухоруков с ужасом увидел, что она была как-то неестественно притянута к подбородку; ее, что называется, скрючило, и Василий Алексеевич ее разогнуть не мог. Левую руку он смог поднять с трудом и, жалобно застонав, потянулся за стаканом. Увидав это, Захар стал поспешно подавать барину воду. С усилием он приподнял молодого барина на постели, чтобы тот мог проглотить несколько глотков воды. Приподнявшись, Василий Алексеевич вдруг ощутил, что он встать с постели на ноги уже не может. Ноги его были как бы связаны. Они были парализованы, он ими не владел.

Василий Алексеевич был беспомощен и страшно несчастен. Он охватил слабой левой рукой шею Захара, который с нежностью и участием смотрел на своего барина, и вот Василий Алексеевич, который с малых лет никогда не плакал, вдруг зарыдал, как ребенок, припав головой на грудь верного слуги.

Приехал доктор. Осмотрев больного, он прописал лекарство и установил известный режим ухода за больным. Отправившись на половину Алексея Петровича, доктор объявил старику, что у его сына нервный удар и что положение больного серьезно.

ХП

То состояние отчаяния, граничащее с умственным и нравственным отупением, которое охватило на первых порах пораженного болезнью Василия Алексеевича, начало через некоторое время проходить. Мысль, копошившаяся в мозгу больного, требовала своей работы. Она понемногу входила в нормальную колею. И, казалось, она, эта мысль, начала бы жить совсем правильно, если бы не новое ощущение сильной боли в правой скрюченной руке, которое чувствовал больной и которое перебивало ход его размышлений.

А Василию Алексеевичу было над чем подумать – подумать после того, что пришлось ему испытать за последнее время.

Особенно неизгладимое впечатление из всего, что пережил Василий Алексеевич, оставило после себя видение его матери – видение, происшедшее хотя и во сне, но такое яркое, совсем как наяву, видение беспощадное по своей силе. Впечатление от него было настолько велико и значительно, что, по сравнению с ним, ссора с отцом теряла свою боль и остроту.

Это видение оказалось чревато серьезными последствиями для всей последующей жизни Василия Алексеевича. Оно дало зародыш появившемуся у него религиозному чувству. Раньше у Василия Алексеевича не было, в сущности, никакой религии. Не было у него также и никакого философского мировоззрения. Если он ранее и ощущал иногда как бы отдаленное признание каких-то особых сил, для него непонятных, – сил, которые делали возможным, например, страннику Никитке творить свои заговоры, то эти признания были отрывочны и случайны. Василий Алексеевич над этими силами не задумывался. Мысль обо всем подобном бесследно изглаживалась у него другими впечатлениями. Жизнь Сухорукова и без разрешения подобных загадок была сама по себе обаятельна. Эта жизнь неслась так быстро и беззаботно. Опьянение молодостью и чарами неизжитых страстей отвлекали Василия Алексеевича от серьезных вопросов – таких, например, как вопрос о том, зачем мы живем? что такое душа? есть ли потусторонняя жизнь? и прочее и прочее.

Но вот, после видения матери, Василий Алексеевич пришел к вере, что потусторонняя жизнь существует.

Для него сделалось несомненным, что мать его, Ольга Александровна Сухорукова, которую похоронили семнадцать лет тому назад, живет в ином мире, что она там о нем думает и о нем печалится... Когда Василий Алексеевич после постигшего его удара пришел несколько в себя, то осознал, что у него есть прочная опора в жизни, что у него есть защитница... Василий Алексеевич облегченно вздохнул при этой мелькнувшей у него мысли. Отчаяние стало проходить. Зародились смутные надежды на что-то лучшее, что должно к нему прийти. Ему даже почудилось, что, быть может, мать его сейчас здесь, в этой комнате... Она охранит его от всех зол.

Он упорно думал о своих новых ощущениях и надеждах, недвижимый в постели с закрытыми глазами...

Но вдруг внезапно кольнула его иная мысль, и мысль мучительная. Кольнуло его воспоминание о том, что он, Сухоруков, под влиянием какого-то ничтожного мужика Батогина решил снять с себя и забросить за печку драгоценную вещь – благословение матери... И как он мог до этого дойти?! Василий Алексеевич застонал от тяжелого воспоминания и открыл глаза.

Перед Сухоруковым стоял Захар с лекарством, прописанным барину доктором. Захар держал в руках стакан с «декохтом», сваренным из валерьянового корня (в Отрадном была своя маленькая аптека). Доктор перед отъездом показал Захару, как варить это целительное средство. Он возлагал на «декохт» большие надежды.

– Извольте, барин, выкушать, – объявил Захар. – Сейчас только сварено. Свеженькое-с.

Василий Алексеевич приподнялся с помощью Захара на постели и выпил лекарство.

– Позови Маскаева, – наконец, не без усилия, сказал Василий Алексеевич.

– Зачем вам Маскаев? Опять изволите беспокоиться, – возразил Захар.

– Не твое дело... Не сердя меня, Захар. Слушайся, когда говорят.

Захар заворчал что-то под нос, но вышел исполнять барскую волю. Через минуту он вернулся с Маскаевым.

– А теперь, Захар, уйди, – объявил Сухоруков, – и не злись, и не ворчи... Мне нужно с Маскаевым поговорить с глазу на глаз.

Захар повинился.

– Маскаев, – обратился Сухоруков к доезжачему, – не удивляйся тому, что я тебе скажу... Не удивляйся и делай то, что тебе прикажут... У меня на шее был крест золотой на цепочке... Я тогда в избе... послушался этого Батогина... забросил у него крест за печку. Мне этот крест нужен... Я без него жить не могу... Возьми двух людей из охотничьей дворни... Поезжай с ними к Батогину... Иди в его избу, где мы ночевали, и выручи, во что бы то ни стало, этот крест. Хоть печку ему всю разломаешь, но чтобы крест лежал здесь на столе, слышишь?.. Знай, что это нужно... очень нужно.

– Будет сделано, – отвечал Маскаев. – Будет так, как изволили приказать.

Маскаев вышел. Сухоруков с облегчением вздохнул. «Вот и увижусь опять с матерью, – подумалось ему... – Она всегда со мной будет. Она спасет меня».

И Василий Алексеевич закрыл глаза.

После нервного усилия при разговоре с доезжачим Сухорукова опять потянуло к забытию. Его охватила реакция полной слабости... Он скоро заснул.

Через минуту в спальню вошел Захар. Увидав, что Василий Алексеевич спит, старик остановился перед своим барином и долго смотрел на него с величайшей любовью и нежностью. Уста старого слуги шептали молитву: «Господи, сохрани и помилуй раба твоего Василия», – тихо повторял Захар.

ХIII

Старика Сухорукова всего поглотила только одна навязчивая идея – спасти Отрадное от продажи во что бы то ни стало. Ни о чем другом он не думал. Алексей Петрович ясно сознавал, что не пережить ему потери Отрадного, сознавал, что с Отрадным связана вся его жизнь, ибо другой жизни, вне этого владения, вне права распоряжаться отраднинскими людьми и удовлетворять свои барские прихоти, он себе представить не мог.

После описанной сцены с сыном, после этого, как определил старик Сухоруков «сумасшествия безумного мальчишки», Алексей Петрович схватился за новую, хотя и весьма шаткую, мысль добыть средства к своему спасению. В округе оставалось только одно лицо, которое, как теперь показалось Алексею Петровичу, могло бы его выручить. Но иметь отношения с этим лицом было очень трудно. Сухоруков знал, что если просить это лицо о деньгах, то предстоит перенести большие унижения и притом со слабой надеждой на успех. Этим объясняется, почему до сих пор Алексей Петрович отгонял от себя всякую идею о подобной попытке, предпочитая ей даже ограбление Незвановой. Лицо это, эта последняя слабая надежда, о которой теперь вспомнил Сухоруков, был сам господин управляющий винным откупом в уезде, некто Хряпин, местный купец, человек денежный и значительный, но большой плут и притом самодур. Отношения этого Хряпина к старику Сухорукову были скорее враждебные, хотя с внешней стороны и политичные. Хряпин прекрасно знал, что Сухоруков вредил его откупному делу своим корчемством. Все усилия Хряпина были направлены к тому, чтобы изловить Сухорукова в спаивании народа дешевой водкой, но до сих пор это ему не удавалось, несмотря на обильные подкупы исправника и местной полиции, которая, по обычаям того времени, была

вся на жаловании у откупщика. С внешней стороны Хряпин к Сухорукову был почтителен, ибо Сухоруков все-таки был большой барин и у него были связи в столицах.

К этому-то местному тузу, купцу Хряпину, Алексей Петрович и решил написать заискивающее письмо; послано оно было тотчас же после размолвки с сыном. В письме Сухоруков высказывал желание приехать к Хряпину в уездный город. Алексей Петрович намекал на предстоящее денежное дело. Хотя надежда на Хряпина была плохая, Сухоруков верил в свою силу и думал как-нибудь обойти откупщика – утопающий хватается и за соломинку.

В день приезда доктора, вызванного к заболевшему сыну, старик с нетерпением ждал почты из уездного города с новостями из Москвы, где бесполезно метался и хлопотал сухоруковский поверенный об отсрочке торгов в Опекуновском Совете. Этот поверенный в каждом письме к старику подавал отдаленную надежду на возможность отсрочки. Но Сухоруков этой надежде плохо верил.

Доктор, вызванный к молодому Сухорукову, приехал, как мы уже говорили, рано утром. Пробыл он в Отрадном только час времени, спеша уехать на операцию. Хотя доктор и сообщил старику Сухорукову, что положение сына серьезное, но тут же заверил старика, что будут приняты все меры поставить Василия Алексеевича на ноги.

Старик Сухоруков выслушал реляцию доктора с очень рассеянным видом. Ему было не до этих докторских разговоров о сыне. «Опасности для сына нет, и прекрасно». Он это только и вынес из визита доктора. Мысль о спасении Отрадного поглощала его всего.

Наконец из города привезли ожидаемую почту и подали Алексею Петровичу.

Привезли тогдашние журналы «Библиотека для чтения» и «Московский Наблюдатель», газеты «Северная пчела» и «Московские Ведомости». Алексей Петрович быстро все это отложил в сторону. – А вот, наконец, и письма! – Сухоруков вскрыл первое попавшееся ему под руку. Оказалось – совсем неожиданное из Петербурга от полицейского понытчика Саушкина, бывшего у Сухорукова на жаловании и исполнявшего разные поручения. Письмо начиналось словами: «Пути Божии неисповедимы, благодетель Вы мой, Алексей Петрович! 25-го сего июня в два часа дня скончался Ваш братец Александр Петрович от апоплексии...»

«Что такое?! – Сухоруков остановился читать. Он чуть было не ахнул. – Умер брат. Я – его наследник, – мелькнуло у него в голове. – Что такое! Чудо в решете?»

Сухоруков впился в письмо.

«... скончался Ваш братец Александр Петрович от апоплексии, – продолжал читать Сухоруков, – оставив всем нам великую скорбь о потере столь именитой особы... Радея о пользе Вашей, – читал Алексей Петрович дальше, – радея о пользе моего досточтимого благодетеля, я навел надлежащие справки, и по оным оказалось, что братец Ваш, переселившийся в небесный мир совершенно внезапно, не успел совершить духовного завещания на имя своей аманты Каролины Карловны госпожи Шпис, при нем неотлучно состоявшей и питавшей на Вашего брата большие надежды, а посему следует, что деньги брата Вашего, сиречь, ломбардные билеты в сумме двухсот тысяч рублей ассигнациями, лежащие ныне в петербургской сохранной казне, суть неотъемлемая Ваша собственность, а также дом Его Превосходительства на Гороховой в три этажа с флигелями...»

Дальше в письме было неинтересно. Сухоруков еще раз с вниманием перечитал это письмо. «Удивительно!.. Удивительно!» – мелькало у него в голове. Следующие письма были: одно – от московского поверенного о том, что надежды на отсрочку продажи имения никакой нет, и, наконец, последнее письмо от купца Хряпина с извещением, что он, Хряпин, сейчас Сухорукова принять не может, ибо завтра уезжает в губернский город по делам откупа. Скомкав эти два последние письма, Алексей Петрович с веселой улыбкой бросил их в корзину. Радостное настроение охватило его. И еще бы ему не радоваться! Ведь агония Отрадного кончилась! Ведь все пойдет по-старому и даже лучше, чем по-старому. Сухоруков мог теперь совсем, совсем спокойно сидеть в своем вольтеровском кресле.

Но при всем том Алексей Петрович сознавал, что время было на счету. Надо было действовать, не теряя ни минуты: остановить торги и принять наследство. Надо было ехать самому в Москву и Петербург.

«Все это пустяки, все это будет сделано», – думал Сухоруков. Охватившее его радостное чувство доминировало над всем, давало старику молодую энергию. С этим свалившимся так внезапно наследством он на почве. Он хорошо знает, что теперь не то, что было ранее. Теперь его послушают везде, где он будет хлопотать, послушают в Опекунском Совете, дадут необходимую отсрочку. Через месяц он вернется в Отрадное, устроив все дела, вернется с новыми затеями, с новыми планами.

Алексей Петрович распорядился сейчас же позвать к себе бурмистра Ивана Макарова.

Бурмистр, высокий старик с окладистой бородой, вошел к барину. Бурмистр этот был правая рука Алексея Петровича в его хозяйстве. Иван Макаров пользовался большим доверием своего господина.

– Сегодня я уезжаю, – объявил ему Сухоруков. – Прикажи кучерам изладить дорожный дормез и сейчас же послать подставу в Троицкое, чтобы нам в две упряжки быть на шоссе на станции. Там я ночую и завтра на почтовых в Москву и Питер. Со мной поедут Егор и повар Филипп.

Алексей Петрович дал указания бурмистру относительно уборки хлеба, которая уже началась, сделал еще необходимые распоряжения, и только когда все было налажено, успокоился.

XIV

Совершенно оживший и уверенный в себе, уверенный в своем положении, старик вспомнил наконец о сыне.

Перед его мысленным взором пронеслось все то, что за последнее время произошло в их отношениях. Алексей Петрович теперь имел возможность хладнокровно и спокойно это обдумать и, к стыду своему, не мог не признать, что сын его был прав в своем отказе идти на его отчаянную затею. Ведь, действительно, мало ли чем эта затея могла кончиться, и имя Сухоруковых могло быть опозорено уголовщиной. Сын был прав, говоря, что Сухоруковы грабежом еще не занимались. А он, отец его, за это так оскорбил сына... Положим, что и Василий был опрометчив в своей дерзости и горячности, но все же он, Алексей Петрович, нанес сыну тяжкое оскорбление, оскорбление жестокое... И вот сын его теперь лежит больной...

Старик Сухоруков словно съезжился, когда все это ему представилось. «Черт знает, как все это вышло! – проговорил он с сердцем. – Ведь сын по существу прекрасный малый, человек лихой и породистый, и огонек в нем настоящий, сухоруковский. И компаньон он отличный. Ведь это он, отец его, из-за своей прихоти уговорил Василия выйти из полка, испортил его карьеру». – Чем больше Алексей Петрович думал обо всем этом, тем более мучила его совесть. Любовь к сыну проснулась у Сухорукова с прежней силой.

В дверях показалась деbeatая Лидия Ивановна, вся встревоженная; она только что узнала от бурмистра о внезапно предположенном отъезде барина.

– Вы сегодня уезжаете, – сказала она, опустив глаза. – Что такое случилось?

– Не твое дело, – отрезал Алексей Петрович, – после узнаешь. Захара мне позови, да поскорее!..

Явился Захар.

– Ну, Захарушка, здравствуй, – сказал Алексей Петрович ласково, как только на это был способен. – Ну, что твой барин?.. Доктор говорил, что это отойдет... Что, он все еще лежит?..

– Очень они плохи-с, – сумрачно отвечал Захар. – Рука у них скрючена-с, и на ногах стоять не могут. Они вместе с Маскаевым ночью за сорок верст куда-то ездили. Дорогой, надо

полагать, простудились... Теперь все у них разболелось, и мурашки по рукам и ногам бегают. Очень они жалуются. По временам даже вроде как бы судороги в ногах-с...

– Он теперь спит? – спросил Сухоруков.

– Сейчас проснулись, – отвечал Захар. – Фершал из Троицкого приехал. Будет им пивявки ставить...

– Ступай к сыну, – сказал Алексей Петрович, – предупреди его, что я сейчас приду.

Старик Сухоруков вошел к больному, когда Василий Алексеевич не спал и не был в забытии. В комнате никого не было; больной лежал под белым одеялом, лежал неподвижный, с особым, новым для Алексея Петровича выражением печальных глаз, устремленных на одну точку. На лбу Василия Алексеевича сложилась характерная поперечная морщинка. Правая рука поверх одеяла была неестественно притянута к лицу. Пальцы этой руки были как-то странно, некрасиво согнуты.

При входе Алексея Петровича взгляд сына упал на отца. Больной слабо улыбнулся и сказал:

– Вот какой я, дурак, лежу... Видишь, отец, совсем никуда я негодный...

Нелегко было Алексею Петровичу увидеть таким своего сына. Совесть мучила его, и ему хотелось каяться.

– Я пришел к тебе, Василий, – не без усилия заговорил старик Сухоруков, – пришел прощения у тебя просить...

– Пустяки, – отвечал Василий Алексеевич, – мы оба с тобой горячие... Вот и все.

– Пришел прощения просить, – продолжал Алексей Петрович. – И слышишь, Василий, чтобы не поминать нам этого... чтобы совсем забыть...

– Полно, отец, – тихо улыбнулся больной, – я тебя знаю. Когда людям круто приходится, все может случиться.

– Да что же это с тобой в самом деле? – заговорил иным тоном Алексей Петрович. – Откуда такая необыкновенная напасть? Ну, ударил я тебя – это было. Но откуда это все взялось, – говорил Алексей Петрович, указывая на скрюченную руку, – с чего ты обезножел?

– Не спрашивай, долго рассказывать, – отвечал Василий Алексеевич. – Завтра расскажу, когда соберусь с силами...

– Завтра не придется, Васенька. Завтра я буду далеко отсюда, буду катить на почтовых в Питер... Да что же это я? Я тебе еще главного не сказал! – спохватился Алексей Петрович. – Дядюшка-то твой Александр Петрович, сенатор-то наш, приказал долго жить... И представь себе, он оставил нам наследство, и порядочное, больше двухсот тысяч... Это совершенно как в сказке... Совсем даже невероятно.

– Я так и знал, что все обойдется, – спокойно, без всякого удивления отозвался на эту новость больной. – Мать нас недаром удержала...

При этих словах на лице Василия Алексеевича появилась торжествующая улыбка...

– Недаром она нас удержала, – повторил он, – а ты мне тогда не поверил... Теперь сам видишь...

Сказав это, Василий Алексеевич с той же торжествующей блаженной улыбкой закрыл глаза и добавил:

– Видишь, как хорошо все вышло... И я выздоровлю; я в этом не сомневаюсь, а ты поезжай...

Алексей Петрович понял, что не следует больше тревожить сына. Он подошел к нему, наклонился и поцеловал его в лоб с искренним горячим чувством.

– Поправляйся, Васенька, поправляйся, – сказал он. – Я тоже не сомневаюсь, что ты поправишься. А меня ты совершенно прости, – сказал он еще раз. – Ведь оба мы с тобой такие сумасшедшие... Что поделаешь!.. Такая уж наша порода сухоруковская.

В этот же день Алексей Петрович выехал из Отрадного в Петербург.

XV

Из своей командировки возвратился доезжачий Маскаев и порадовал Василия Алексеича удачей. Он привез молодому барину отысканную драгоценность – крест на золотой цепочке. Все обошлось благополучно. Колдун против обыска не спорил. «Барин ваш сам закинул свое добро, – говорил он охотникам, – ну и ищите евою вещь, коли он вас за ней прислал... Очень мне она нужна».

Ощущая на шее драгоценный крест, Сухоруков нравственно ободрился – тяжелый камень свалился у него с сердца.

Приехал доктор. Он нашел в больном некоторое улучшение и решил поставить Василия Алексеича на костыли. Доктор боялся только, что согнутая рука больного будет этому мешать. Однако с помощью левой руки, державшей костыль довольно твердо, и с помощью Захара, охватившего молодого барина за талию, Василия Алексеича удалось пересадить с постели на кресло к открытому окну. Правда, ноги его были слабы, но не настолько, чтобы больной не мог ими передвигать.

Сидя в кресле, Василий Алексеич жадно впивал в себя свежий воздух. Ему вдруг безумно захотелось покурить. Доктор и это позволил, и тогда Сухоруков, страстный курильщик, с наслаждением начал затягиваться из поданной Захаром трубки, набитой знаменитым в те времена «Жуковым» табаком. Больной видимо оживал. Ему хорошо сиделось у окна, расположенного в тени на северной стороне дома.

Ободрив больного надеждой на выздоровление и дав несколько указаний, доктор сейчас же уехал. В то время в докторах была всеобщая нехватка; доктор был один на целый уезд.

Хорошо сиделось у окна Василию Алексеичу. Стояла чудесная погода; было совсем тихо и нежарко. День клонился к вечеру. Косые тени от дома и деревьев тянулись по зеленому газону; перед окном был богатый цветник, а дальше видна была старая липовая аллея, густая и тенистая.

Василий Алексеич отдался своим размышлениям. Размышления же его были все те же – он старался проникнуть в существо пережитых им за последнее время впечатлений, и вот у него начала слагаться своя очень оригинальная религия, совсем отличная от христианской. Христианскую религию он продолжал по-старому не признавать. Христос для него был просто человек – человек, несомненно, великий, но, по существу, такой же пророк, как и другие пророки, как, например, Магомет или Зороастр. Если народ верит в Христа – это очень хорошо, – думал Василий Алексеич, – но эта религия не для него, Сухорукова. Он выше этих детских воззрений... Какая же его вера?.. Какие его основы?..

У Василия Алексеича начинало слагаться верование, что в мире имеются две категории сверхприродных сил, которые, как он теперь убедился, влияют на людей. Силы зла и силы добра. Силы эти приходят к человеку извне; но не все люди это понимают и чувствуют. Многим кажется, что они сами в себе эти силы носят. Он же, Сухоруков, теперь узнал, что есть как бы особые вихри зла и добра, которые существуют независимо от людей и на людей влияют. Вихри злые иногда всецело захватывают существа слабые или страстные, и те им отдаются и борются с ними не могут, принимая их за что-то роковое, – отсюда понятие о роке у древних. Но между этими вихрями есть и силы добрые, охраняющие человека. Когда он, Сухоруков, с Батогиным колдовали в лесу, разве не добрые силы оградили тогда старуху Незванову от ударов колдуна?.. Есть между людьми такие счастливицы, как, например, он, Сухоруков, у которых имеются свои добрые защитники... Его, Василия Сухорукова, доброе божество – это его мать... Только он этого раньше не знал, а теперь недавно в этом убедился. Не будь матери, он совсем бы погиб от вихрей злых и, что всего ужаснее, погиб бы нравственно...

«Колдун Батогин, – продолжал думы свои Сухоруков, – несомненно раб злого духа, сознательный дьявольский слуга. Кроме зла в нем самом, этого человека захватил особый наносный вихрь дьявольской силы».

Не поддавался только определению Василия Алексеевича странник Никитка. Никитка был заражен таинственными влияниями, действовал как бы от них... «Это было так; – признал Сухоруков, – но какие это были влияния? Ведь Никитка вылечил Машуру... Стало быть, сделал доброе дело, а вот его, Сухорукова, он натравил на колдуна, и, не спаси его умершая мать, он погиб бы нравственно безвозвратно».

И думы Сухорукова остановились опять на матери – на этом его божестве. Он словно видел ее перед собой, и у него явилась даже особая потребность прибегать к этому своему божеству в молитве, прибегать к нему для ограждения себя на будущее время от злых влияний. Он начал даже сочинять молитву... Он будет читать матери эту молитву каждый день утром и вечером... Будет призывать ее на помощь...

Размышления Василия Алексеевича прервал вошедший Захар.

– К вам гостья, – доложил он, – навестить пришла...

– Какая гостья? – словно очнувшись от сна, проговорил Василий Алексеевич.

– Марья Васильевна-с... Говорит, по вас соскучилась...

– А, Машура!.. Что ж!.. Зови. Очень рад, – сказал Сухоруков.

Через минуту вошла Машура.

Сухорукова удивило, что она была одета в черное, точно монастырская послушница; только на голове у нее был беленький платочек. До сих пор, когда она приходила к барину, она всегда наряжалась в цветные наряды, в чрезвычайный по яркости сарафан, в шелковый красный платок. Шея Машуры всегда украшалась ожерельями из красных и белых бус.

– Здравствуйте, милый барин, – сказала Машура, – что это с вами за беда приключилась?..

– Ты мне раньше скажи, – отвечал ей Сухоруков, – что это с тобой сделалось? Почему ты такая черная ходишь? Разве кто умер у тебя?..

Машура опустила глаза.

– В скит я собрамшись, – тихо сказала она, – проситься в скит пришла...

– Опять ты за старое, – сказал Василий Алексеевич, – опять эти скиты в голове.

– Барин мой дорогой, отпусти ты меня хоть на месяц на один.

Сухоруков покачал головой.

– Не понимаю, – проговорил он, – с чего тебя в эти раскольничьи скиты тянет?

– Оказия такая вышла, барин мой милый. Вчера моя крестная мать оттуда приехала, она маменьки моей свояченица. У нее и лошади свои, зовет погостить... Очень уж хочется мне помолиться, тамошнего христа повидать...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.